

Бабе Сане сон снится. Вообще-то она Александра Прокоповна, а баба Саня — это по-уличному. Так вот, снится, значит, бабе Сане сон, где она совсем молодая. Такая молодая, что ей даже чудно делается, и она в это чудо ну никак не верит. Умом-то своим, во сне не участвующим, она понимает, что старая она, а сон ей говорит обратное. Баба сначала даже растерялась, как, мол, так, она же старая, но сон говорит, что нет, не старая, и так настойчиво говорит, так разноцветно, что она ему верить начала. Стоит будто она вся нарядная на крыльце, а в калитку Федор входит. Молодой-молодой, сапоги на нем хромовые, те самые, что Соклак тачал, и рубашка на нем та же, в полоску несчастую. Прикрывает он калитку, значит, к Саньке, к молодой еще, идет, сапогами поскрипывает и широко улыбается. Улыбается и молчит. А в это время Ульяниха, соседка бабы Санина, стоит на той стороне дороги и на всю улицу кричит:

— Федор-то Санин домой вернулся!..

Баба Саня на Ульяниху рукой махнула, не шуми, мол, и с крыльца Федору навстречу ступила. А он и сам уже рядом. И вот обняла она его, дух его ноздрей чует, тело пальцами ощупывает, а сама думает: «Господи, умер же мой Федя, умер...» Сама так думает, а Федору говорит:

— Соскучилась я по тебе, Федя, ох, как соскучилась... Где ты так долго был?

А сама знает, что Федор умер, но продолжает спрашивать:

— Как же ты выбрался, ведь Андрей тебя гвоздями заколотил, да и земли столько сверху навалили?

А Федор отвечает:

— Так гвозди мимо вбили, с краешка только и прихватили. Крышка снялась легко, а земля, как пух, мягкая и пушистая, я сквозь нее без труда и выбрался.

Баба же Саня в словах его вроде как сомневается:

— А у тебя-то, когда хоронили, лицо было распухшее, а сейчас ничего.

И опять отвечает Федор:

— Так ко мне же врачи приходили. Помнишь, летчиков-то откапывали? Ну тех, что разбились?

Баба Саня помнит, что летчиков, действительно, откапывали. Даже дважды.

— Так вот, врачи их откапывали и лечили, а я же рядом был, вот они и меня заодно вылечили.

Похоже, Федор правду говорит, а бабе Сане в эту правду очень верить хочется. Она и верит. Верит и все сильнее к мужу прижимается, тело его чувствует, табачный дух ловит и тихонько смеется. Федор, ее Федор, домой вернулся!

— Ты бы мне баньку истопила, — просит он, а у бабы Сани будто бы и баня как раз истоплена, и белье свежее в доме лежит, для Федора приготовленное. Все как в сказке.

Ведет баба Саня Федора в баню, одной рукой белье чистое к себе прижимает, другой Федора касается, а сама думает: если он неправдашный, то, как разденется, тела у него и не будет, а я в щелочку и увижу. Сама так думает, а рукой все Федора потихоньку щупает. Вроде тело есть...

А потом будто Ульяниха зачем-то прибежала. Наверно, посмотреть на Федора поближе захотела, но только Федор был уже в бане, Ульяниха ни с чем и ушла. Ни с чем пришла, ни с чем и ушла, только бабу Саню с планов сбילה. Баба в предбанник вошла, но Федора в предбаннике уже не было, только слышно, как он моется в мочной. Он моется, а бабе Сане страсть как охота посмотреть: есть у Федора тело или нет.

Стоит она в предбаннике, а в нем так светло, как будто откуда-то сбоку солнце светит, а в самой бане еще светлее и в двери через дырочку от сучка выпавшего прямо лучик света исходит. Бабе Сане и неудобно подсматривать, и страсть как хочется правду знать. Смотрит она через дырочку и видит своего Федора. Правдашный Федор-то, с телом, и даже родинка на левой руке видна. Родинку, как только увидела, тут и совсем успокоилась: живой Федор, живой, улыбнулась и из предбанника на воздух пошла. Только порог переступила, только дверь притворила, как тут и прокинулась...

В избе было темно и тепло. Баба Саня лежала с открытыми глазами и слушала, как на кухне тикали часы. Ей было грустно. С чего бы это Федор к ней повадился приходиться. Второй год пошел, как схоронила она Федора, и за это время он ей только один раз приснился, вскоре после похорон. Перед сороковинами, кажись. Один только раз и все, и ни слуху больше и ни духу, а тут третью ночь подряд приходит и все по-разному. То на покосах с ним встречалась, то ежевику вместе в забоке брали, а тут в баню пришел мыться. Баба Саня знала, что это нехорошо, и теперь, лежа в постели, пыталась сон свой растолковать. Тоскую, наверно, подумала она и, откинув одеяло, спустила ноги с кровати, надо бы в церковь сходить да свечку поминальную поставить. В оконное стекло мелко и одноотонно стучал осенний дождь. Во-во, подумала баба, покойники всегда к дождю. Она встала, заглянула за шторку, за окном маячила сырая темень. Баба Саня засветила керосиновую лампу, посмотрела на часы, было три часа ночи.

Спать не хотелось, а делать было нечего. Лежать в постели и прошлое ворошить радости мало, светлого в этом прошлом было негусто, что ни копни, все больно. В таком состоянии баба Саня, как привидение, вся в белом, стояла несколько минут посреди комнаты, потом поправила шторы на окнах, сполоснула лицо, рот и убралась. А еще позднее она водрузила на нос очки, разложила на столе бумагу и села писать письмо. Ночью хорошо пишется. Шуму лишнего нет, не отвлекает. И здесь, что главное, надо, чтобы свет был не электрический, а керосиновый. Керосиновый свет мозги не сушит.

Давно когда-то отец ее Прокоп Данилович нашел в семейном бюджете небольшую денежку и отдал Санюшку в школу грамоте обучаться к отцу Полиарию. Школа была церковная, строгая, и отец Полиарий был строг. Санюшка его побаивалась, смотрела ему в рот и слова его умные старалась запоминать. Денежки достало только до Рождества, но и этого Сане хватило. Буквы узнала, читать научи-

лась и письмом овладела. Писала коряво, без заглавных букв, без запятых и точек, но мысль держала в голове ровно, и письма ее получались очень даже толковы. Она и по жизни мысль держала ровно. И ровно, и толково. А все, наверно, потому, что после школы она два года у отца Полиария на клиросе пела. Те слова, что она пела, светом Господним ее на всю жизнь озарили.

Писать баба Саня любила. Ни от кого не отгораживалась, писала всем, но больше всего ей нравилось писать меньшему своему, Сережке. Она ему писала обо всем: и о соседях, и о картошке, а в конце всегда приписывала: «...ты мне Сирежа пиши твое письмо почитаю как с тобой поговорю». Сергей же письмами мать свою не баловал, писал редко — на два-три ее одно свое отписывал, но письма писал длинные, ласковые и, чтобы их бабе Сане было легко читать, печатал тексты на машинке. Когда же умер Федор, Сергей писать стал чаще. Она это понимала и душой все больше к нему тянулась.

В письме баба Саня описала, как управилась с огородом, сколько картошки накопила, сколько едовой, сколько на семена и сколько продала. Она об этом уже писала в предыдущем письме, но написала еще раз. А вдруг то не дошло. Потом она прописала про свое здоровье, что, мол, пока, тьфу-тьфу, все у ней ладом, описала про соседей, и все деревенские новости описала, какие знала. И еще написала про Люську, дочь свою, и про зятя Андрея, как они ей картошку убрать помогли. «...а Люське с Андреем все деньги что ты прислал на водку извела пять бутылок покупала а они пили и дрались...» В конце приписала: «...ты мне Сирежа пиши твое письмо почитаю как с тобой поговорю».

Потом она перечитала письмо, запечатала в конверт и адрес написала. Как бы коряво адрес ни получался, но письма ее до адресатов доходили всегда и не терялись. Она и индекс писала коряво, цифры были еще кривее, чем буквы, не по линейкам, что обозначены на конверте, но ее и это не смущало. Дойдет...

Новый день начался с того, что на крыльце грузно затопали и громко затарабанили в дверь. Это была Люська. Растрепанные волосы ее торчали лохмами из-под наспех наброшенной косынки, была она в калошах на босу ногу, и от нее тащило вчерашним алкоголем.

— Ты чо, мама, по ночам не спишь?

— Откуда знаешь? — Александра Прокоповна посмотрела на родную дочь и подумала: в кого же она такая неряха уродилась?

— Да я ночью проснулась, смотрю — свет у тебя. Дай, думаю, схожу, может, надо чего.

Люська врала. Она уже в щелку между занавесок подсмотрела, что мать жива и здорова, на кухне колготится, но ей же интересно было: чего это мать ни свет, ни заря по дому топчется, керосин жжет. А еще у Люськи страшно голова после вчерашнего болела. И перегар, и опухшее лицо ее говорило бабе Сане, что Люська вчера шибко пила. А где Люська, там и Андрей. Андрей-то, поди, еще спит, а этой уже невольно, эту уже жажда допекает так, что она воздух не вдыхает, а всасывает. Сейчас начнет липнуть, начнет опохмелку искать. Баба Саня включила верхний свет и загасила лампу.

Но водка для Люськи была не главное, ее мучила разгадка: что ж это мать ночью делала. Вот дура-то, дождя испугалась, надо бы ночью и подглядеть, сейчас бы и не гадала. Она верила, что у матери есть деньги, а вот где они и сколько их, не знала. А вдруг маманя ночью эти деньги и пересчитывала. Люська вылезла из заляпанных грязью литых галош и прошла из кухни в комнату. Голова трещала, но это не помешало ей разглядеть на подоконнике запечатанный конверт. Вернулась на кухню совсем скучная. В руках письмо держала.

— Все строчишь. Ты ж недавно ему писала...

— Кому ему?

— Кому, кому?.. Сереженьке своему, преподобному.

— Ну, писала... А кому же мне еще писать? Петру да ему, ты-то с Натальей рядом, кажин день бываете, а они далеко.

— Ну и пиши... — Люська облизнула пересохшие губы, бросила письмо на кухонный стол.

— А мне сегодня ночью так плохо было, болит сердце и болит.

— Оно и видно. — Баба Саня прошла в комнату и убрала письмо на комод под клеенку. — Опять лакали ее окаянную. Эх, Люська, Люська... От людей уже стыдно. Ты погляди, на кого ты похожа?

— Ладно, мать, ладно. Не бузи.

— Да мне рот заткнуть легко. Ты вот глаза зальешь, с Андреем поцапаешься и думаешь, что это и все. А у меня вот здесь, — баба Саня постучала пальцем себя по груди, как раз там, где у нее на веревочке крестик с Христом трепыхался, — а у меня вот здесь кровь черная запеклась. Сколько можно ее лакать, проклятую?

— Да я, мама, и сама уже об этом думаю, — Люська притворно вздохнула и спросила: — У тебя там от тех разов ничего не осталось? Сердце прям-таки замирает.

Александра Прокоповна песню эту слышала не единожды. Но она знала, что жизнь ее сейчас в чем-то и от Люськи зависит, да и от Андрея тоже. Пьют, пьют, а иногда и помогут. Вот и с картошкой помогли. Опять же не даром, но ведь помогли. Был бы Федор жив, он бы Люську такую и на порог не пустил, а уж о том, чтобы денег ей на водку дать или сто грамм поднести, и речи быть не могло. Ни в кои веки.

Это было бы так, если бы Федор был жив. Но Федора не было, и баба Саня горилась об этом. Мысли у нее в голове от этих думок складывались и вдоль, и поперек, и как попало, как хворост в костре. Складутся, полыхнут, обдадут изнутри бабу Саню жаром нехорошим, и опять холодком со всех сторон повеет.

Денег для Люськиной опохмелки у матери не было, да она и не дала бы, а вот водка была. Одну из тех пяти бутылок, что баба Саня Люське с Андреем за картошку откупала, они не допили. Пили, пили, потом взгрызлись чего-то, к себе ушли, а в бутылке на доньшке чуток осталось, глотка на два. Баба бутылку эту не выбросила. Люська остатки в стакан слила, подошла к окну, глянула стакан на свет, нюхнула, зажмурилась и выпила. Выпила не быстро, с растяжкой, чтоб водка подольше во рту поплескалась, а когда стакан от губ оторвала и глаза открыла, то чертыхнулась:

— О, Гебильс! Уже проснулся...

В окне, напротив нее, стоял Андрей и осуждающе смотрел на Люську. Голова у него болела, наверно, сильнее даже, чем у Люськи. Губы его шевелились, в просвет майки, сквозь растительность на груди, синела нарисованная каким-то умельцем давным-давно, еще в колонии, где Андрей сидел по малолетке, кривая горбатая птица, не то орел, не то ворон. Люська неспешно двинулась к двери, но Андрей ждать ее не стал. Втянув лысую голову в птичьи свои плечики, он, сгорбленный и посыпаемый негустым дождичком, побрел к дому. Он казался таким одиноким, таким несчастным, что Люське, идущей за ним, стало его жалко. Она бы с ним, конечно, водкой этой, поделилась бы, но ее было так мало. Кстати, дом Люськин был с бабы Саниным рядом, через покосившуюся оградку. В этой оградке Люська заставила Андрея калитку проделать, чтобы из своего двора в мамин шмыгать было удобнее. Не через улицу обегать, а прямо — шмыг в калитку и уже во дворе у мамы. А где во дворе, там и в доме. А в доме у мамы всегда вкусно. Между домами кустов никаких не росло, и Люське материн дом вместе с содержимым, при незашторенных-то окнах, из ее кухни был виден как на ладони.

Андрей ушел, за ним ушла Люська, все успокоилось, и баба Саня села завтракать. Дождик прекратился, петухи свое отгорланили, рассвет пришел совсем незаметно, баба Саня выключила свет, в доме было уже светло. Нечего деньги жечь!

Тут надо заметить, что у бабы Сани было два источника света. Электричество и лампа десятилинейная керосиновая. Керосин у нее был всегда, Колька Корнаков, сосед, привозил ей этого палева по десятилитровой канистре с нефтебазы дважды в год, по весне и по осени. Электричество хорошо для холодильника, для вечера, для утра или если белье утюгом гладишь. А по ночам, когда бабе Сане не спалось, она зажигала лампу керосиновую. Свет неяркий — это раз, мерцает хорошо — это два, да и недорого совсем. При лампе хорошо письма писать и фотографии старые разглядывать. Сидишь в таком уюте, смотришь порыжевшие снимки и жизнь свою видишь. Хорошо...

Баба Саня завтракала не спеша. Кашка, творожок, чай с оладышком. Не спеша ела и все к улице прислушивалась: не донесется ли возня какая со стороны Люськиного дома. Шуму не было и слава богу. Она два раза даже в окно смотрела через шторку, как там дела у Люськи. Там было тихо.

А скоро пришла Ульяниха. Грузная и добрая, она была постарше бабы Сани. Жила тоже одна, ходила в темном платке и всегда с костылем, палкой такой несуковатой, хорошо оглаженной. И при ходьбе помогает, и от собак, если что.

— Здравствуй, сестра! — Она чуть-чуть не дослышала и говорила громко.

Баба Саня отстранила посуду мытую и подошла к Ульянихе, уже примостившейся на сундуке, стоявшем в углу кухни.

— Ты почто это ночью ко мне прибежала?

— Какой ночью?

— Да этой. Я с Федором в баню будто иду, а тут ты приперлась.

Ульяниха освободила левое ухо и заулыбалась.

— Опять, значит, снился... Покойники — к дождю. А я свою Ивана так ни разу и не видела. Как схоронила, так и все. Хушь бы раз. И думаю об ём, и вспоминаю, а все никак...

— А мне снится. — Баба Саня вытерла руки передником, посуду убрала и села к столу. — И все молодой приходит... Я так думаю, что еще довоенный, балхашский. Рука у него еще здоровая, еще не ранетая...

— Молодой — это хорошо.

— Чо ж хорошего-то?

— Как чо? К ей мужик молодой по ночам ходит, а она носом воротит.

— Да ну тебя, — баба Саня усмехнулась. — Какие тут мужики, когда и зубов во рту не осталось.

— Дак это здесь зубов нету, а во сне они все на месте должны быть. Федор, значит, молодой, а ты без зубов? Так не бывает.

Ульяниха наклонилась на костыль и, продолжая улыбаться, переменяла разговор.

— Сережка-то пишет?

— Пишет.

— Ну и чо? Зовет?

— Зовет.

Баба Саня вздохнула и прошла в спальню.

Ульяниха знала, что третьего дня бабе Сане письмо почтальонша принесла, и теперь ей было интересно знать — от кого письмо и что в нем прописано. Баба Саня от Ульянихи ничего не скрывала, письма показывала, а те, которые от Сергея, порой и читала. Секретов там не было, да и какие секреты-то.

Ульяниха была неграмотная и бабе Сане втайне завидовала. А интересовалась она письмами Сергеевыми еще и потому, что боялась: а вдруг Сергей сманит

бабу Саню к себе, и уедет та черт знает куда, и Ульянихе сходить будет не к кому. Молодежь кругом, а старая Быстриха не больно соседлива. Вот и старая уже, в бабки Саниных годах будет, а все корову свою доит и доит, молоко все продает и продает. С сыном своим, бобылем-перестарком, вдвух живут, домину отгрохали не хуже, чем у попа. Куда корячатся? Дом большой, а стоит не по-людски — окнами в огород, на улицу задницей. Забор огромный, а за ним кобель железными звякает. Как к ней пойдешь, о чем говорить будешь? О молоке, о сливках? А кроме Быстрихи, и старух нет.

Вот и побаивается Ульяниха Сергеевых писем, не ровен час задурит бабке голову. Письма пишет длинные, печатными буквами. Баба Саня, когда письма Ульянихе читает, то как будто сказку сказывает. Может, это все, что в письмах, и правда, а может, и нет, но только Ульяниха Сережку вживе знает, на глазах рос, добрый, чего уж лукавить.

Ульяниха уже от думок своих и запечалилась, когда ее баба Саня, выйдя из спальни, окликнула.

— Спишь, чо ли? Я вот тебе письмо почитаю, не самое последнее, а какое еще не читала, какое еще летом пришло...

Письмо было длинное. Сначала вроде ни о чем, какая там, где Сергей живет, погода, растут ли на даче огурцы, а потом: «...а Славка, мама, все спрашивает, когда бабушка придет? Ты, мама, если боишься, то давай сделаем так — ключи от избы Люське отдай, чтобы протапливала, а сама на зиму ко мне приезжай. Поживи у меня зиму, посмотри. Тебе понравится. С Татьяной ты поладишь, уживешься, ты же ее знаешь, она не вредная. А ты рядом будешь, и мне спокойнее будет. И спокойнее, и теплее. Люська-то, наверное, пьет? А к весне, в марте где-то, я отпуск возьму и отвезу тебя, очень я по мартовским буранам соскучился, здесь буранов не бывает, здесь и морозы мягче. Лето дома поживешь, все обдумаешь, и будущей осенью я тебя насовсем к себе заберу. Будешь нам блины свои печь и телевизор смотреть, а то я как подумаю, как ты воду по сугробам на коромысле носишь...»

Ульяниха про сугробы услышала, про коромысло и не выдержала:

— Не знает, стало быть, что тебе воду в дом провели.

— Да я вроде не писала...

— А ты напиши, а ты напиши!

Баба Саня согласно кивнула головой и продолжала: «...на коромысле носишь, сразу тебя всю и представлю — оставшую и одинокую. Подумай, мама, и соглашайся, а Люська избу доглядит...»

Опять Ульяниха встряла:

— Как же, доглядит! Есть ей когда доглядывать — то на работе, то с бутылкой...

— А што? И доглядит. — Баба Саня отложила письмо. — Уголь в доме есть, дрова есть — раз в сутки и протопит. А чо еще нужно? Воровать у меня нечего...

— Дак это так... В разведку, значит, зовет?

— В какую такую разведку?

— Ну... это, разузнать... Как там да чо там...

Ульяниха больше не улыбалась, ей тревожно стало. Уедет баба Саня, ой, уедет. А что? И уедет. К Сережке, наверно, можно и уехать. Вон какие письма шлет. И деньги присылает. Не много, не часто, но присылает. Так ведь у него же своя семья, деньги самому, поди, край как нужны. Пишет, что блинов маминых хочет.

«Приезжал бы да ел сколько влезет!...» Это Ульяниха уже злилась. Вообще-то она злой отродясь не была. Откуда ж это выплеснулось? Ульяниха даже смутилась от такого беспорядка. Надо ж как растревожилась. Сережку-то она и сама всегда привечала и всегда говорила бабе Сане:

— Счастливая ты, Саня! И как тебя угораздило родить его на старости лет?

— Как, как? А то не знаешь, как... Дед один умный подсказал. Когда я забеременела, он прознал и уговорил меня, рожай, мол, ни о чем не думай. Лихие времена пройдут, а это дите к старости как подарок божий будет. Ранние дети — не наши дети, мы постареем, и они уже не молодые, а вот поздние к нашей старости в самый раз... Да и Федор настоял.

Ульяниха это слышала не однажды, но всякий раз завидовала. Хоть и не шибко, но завидовала. Ей такого совета не давали, и жила она теперь от своего сына далеко. Был он и далеко, и на пенсии уже.

— Так поедешь ай нет?

— Голова кругом идет. Как подумаю, что все бросать надо, немею.

— А ты поезжай, поезжай. Рассмотрю все, разумеешь. Может, и понравится...

Ульяниха говорила, а сама голосу своему не верила. «Что плету-то, господи. Уедет Санька, мне тогда хоть погибай».

К обеду разгулялось. Тучи ушли, солнышко появилось, но было нерадостно. Улица посветлела, и слякоть, оставленная ночным дождиком, тоже посветлела. Слякоть эта да ветерок, шуршащий голыми былками полыньника, наполняли пространство тревогой и неуютной сыростью. Стояла та поздняя пора, когда еще не предзимье, но уже и не осень, а что-то среднее между ними, когда золото ушло, а серебро не наступило. И была эта серединка такой грязной, такой дождливой, с такими длинными пустыми ночами, что казалось, будто это не кончится.

Баба Саня каждый день обрывала листики на численнике и, надев очки, внимательно всматривалась в черное лунное пятнышко с пометкой «перв. четв.». Она верила в полнолуние и месяц «на молодяку» не любила. Нарождающийся месяц «обмываться» любит. И как начнет обмываться, то в грязи утонуть можно. Особенно по осени. Грязь в этих краях была двух сортов — черноземная и солончаковая. Обе хороши!

Баба Саня уже знала, что скоро полнолуние, значит, погода установится, заморозки придут, солонцы окрепнут и можно будет сходить в город к старшей дочери, к Наталье. Сходить и посоветоваться. «Будет луна, придут заморозки, тогда и пойду к Наталье. Наталья Люськи толковой, Наталья что плохое не присоветует, скажет — «поезжай», тогда и поеду». Баба Саня так сама себе говорила, сама с собой советовалась, хотя уже окончательно решила, что поедет. С Люськой рядом старость коротать большое терпение надо, а у Натальи у самой своего не расхлебать — три сына и все разные, к ней не приклонишься.

Дороги дальней баба Саня не боялась. Не в таких дорогах бывала и ничего, добрых людей на свете больше, чем других. Когда в двадцатых годах, кинув жалкий скарб, они с Федором на чужих конях из теткиного дома в степь бежали, кто их на ночлег пускал и хлебом кормил? Добрые люди! А время было не приведи господь. Тогда добра было больше, чем зла, а теперь и подавно.

Тогда — это когда?

Заморозков не было, Люська ходила на работу, по вечерам с Андреем буцкалась, баба Саня все чаще фотографии старые вынимала, на прошлое оглядывалась...

Девятнадцатый год ей шел, когда уланы отряда Харченко, на полных рысях двигаясь в сторону Барнаула, проходя, между делом, изрубили в капусту на крайнем

илбане* вооруженных вилами да косами сельских мужиков. Этой беды не случилось бы, проскочи отряд мимо, и кто знает, как сложилась бы судьба Санина, но отряд не проскочил.

Мужики сельские знали, что не бойцы они супротив строевой силы, оружия нет хорошего и уклонились бы от этой бойни, отсиделись бы в Касьяновой балке, да Никишка Алистратов геройство свое показал. Колчаковцев, сказал, надо громить, они, мол, против крестьян. Умница, язвы... Ружье шомпольное имел, смелый был, ну и пальнул по уланам.

Смешался отряд, с рысей сбился, развернул морды лошажки в сторону балки. Увидели уланы мужиков с вилами да кольями, шашками ощетинились, выгнали всех на бугор, как на лобное место, и погуляли на славу. Рубили молча, как на учениях. Всех порубили, один только и ушел, тот самый Алистратов. Сиганул с яра, не умудрился шею сломать, до реки добежал, благо рядом была, нырнул с маху и с концами. Под другим берегом в тальниках вынырнул, там в воде и отсиделся.

А уланы тела мужицкие, кровью мазанные, по кособору разбросали, потные шеи коней рыжих в Алее омыли, лица свои боевые водой проточной ополоснули, подпруги перетянули и как ни в чем не бывало на Барнаул ушли. В трехстах метрах от села прошли, никого больше не тронули, видно шибко спешили, да и трогать было некого — бабы на подворьях да детвора. Они ушли, а на илбане погост вырос. Нашлось на том погосте место и Малахову Прокопу, отцу Саниному.

Через месяц или чуть больше, помыкавшись на сиротском хлебе, Саня на работу пристроилась. На железную дорогу. Удобно было, хоть и далековато. Если до железки по прямой, то с полверсты, а если на станцию работать посылали, то ходу полчаса. Для молодой такая ходьба не в тягость, к тому же и попутчицы были, которые там же, на станции, и работали. И весело, и работать нетяжело, и на пропитание деньги появились. Саня быстро это поняла, от работы не бегала, и костыли била, и шпалы с напарницами ворочала...

В то же лето в самом начале сентября на станцию на рассвете со стороны Шипуново в скотском вагоне привезли под конвоем пленных колчаковцев. Двадцать два человека привезли, девятнадцать офицеров и трех рядовых. Народ на станцию сходился на пленных посмотреть, злорадствовали многие, убиенных на крайнем илбане вспоминали, смерти быстрой пленным желали. «Колчаку хана!», — кричали. Хотя кто как, кто и не кричал.

Саня на пленных смотрела, отца порубанного вспоминала, а зла у нее на душе не было. То были уланы и на Барнаул ушли, а эти не уланы и привезли их совсем с обратной стороны. Конечно, и те, и те для красных враги, ну так это для красных, а Саня была никакая — ни красная, ни белая. Саня была между и смотрела сейчас на пленных с жалостью.

Хоть и были они оборваны, без сапог, но по остаткам одежды, по уцелевшим поганам, болтающимся на плечах, в глаза бросалось сразу — эти офицеры, а эти простые. Они и держались двумя группами, девятнадцать и три, отчего сразу видно было, что они и в плену разные. Руки у всех были завернуты за спины и связаны. Вот и сами разные, и судьбы у них разные, а, похоже, что судьбы их нынче в одной точке сойдутся.

Саня тогда на одного из рядовых шибко заинтересованно смотрела. Был он не очень чтобы высокий, но какой-то стройный, лицом рябоват, но красивый, нос прямой с горбинкой, волосы черные, ровные, а на лоб два кольца упругих спадали. Саня догадалась, что пленных дальше не повезут, и совсем еще не понимала, что она уже подраненная. Если бы дальше везли, то на станции ссаживать бы не

* *Крайний илбан — курган, холм, грива (диал.).*

стали, а уж если выгрузили, то неспроста это. Сердце у Сани стучать стало как-то неровно и кровь в голове зашумела. Что с ней творилось, она не знала, только все дольше и дольше на этого, у которого нос с горбинкой, смотрела.

К полудню на станцию сам Коняев прискакал, председатель комитета. С ним был и Марин Гудзо, который не то чех, не то поляк, но лютый, хуже зверя. Соскочил с коня, пленных осмотрел, нагайкой по голенищу стукнул и, твердо ступая, пошел звонить в Барнаул. Звонил долго, но не дозвонился. А кто говорил, что и дозвонился, только вернулся он той же властной походкой и решительно сказал:

— Ведите всех к мосту железнодорожному...

Потом еще что-то, с седла свесившись, сказал старшему по конвою и пустил коня с места наметом. Коняев остался на станции по своим делам.

Народ понял, что пленных расстреляют, и заволновался. Не очень заволновался. Заволновался и тут же стих, вроде той волны, что на ровной воде вдруг встанет и тут же на нет сойдет, как будто ее и не было. А потом бричку с пулеметом пригнали. Все было страшно и безысходно.

Пленных вели колонной по трое. Последним шел тот самый, у которого нос с горбинкой. Босой, он шел легко и свободно, как будто и не на расстрел. Колонну вели по пыльной сентябрьской земле. Вели вниз к реке Горевке, над которой свесил свое черное брюхо железнодорожный мост. За Горевкой и расстреливать должны были. Оттуда сподручней потом на илбан мертвяков свезти и в яме зарыть. Желавших посмотреть расстрел оказалось мало.

Саня оставила работу и, очевидно, не совсем понимая куда идет, шла за расстрельной командой вместе с поредевшей толпой среди первых. Шла как заколдованная. Не надо бы было ей идти, но она шла и не знала, почему делает это. До нее дошел весь ужас происходящего только тогда, когда пленным развязали руки, заставили снять верхнюю одежду и ровной, насколько возможно, шеренгой в белом исподнем поставили вдоль железнодорожной насыпи. Развернули бричку с пулеметом. Командовать расстрелом Коняев прискакал сам. На крайнем илбане в той стычке с уланами у него старший брат был убит.

Расстрел Саня смотреть не решилась, выбралась из толпы и быстро-быстро уходить стала. Сначала быстро, а потом побежала. Было жутко, а когда ей, отбежавшей уже прилично, по ушам ударила захлебывающаяся пулеметная очередь, она прикрыла уши руками и, не передыхая, запаленная бегом, ворвалась на станцию. Отдышалась, успокоилась, а перед глазами возник он. Тот, с горбинкой. Босой, в белом. Один стоит, улыбается и в небо смотрит, а других расстрельных рядом с ним как будто и нету...

Баба Саня стояла во дворе перед черным пустым огородом, смотрела на раскисшие солонцы и не видела их. Она видела далеко правее солонцов железнодорожный мост, крутую насыпь и думала, что мост-то она видит другой, не тот. Когда вторую железнодорожную ветку вели, то и мост новый возвели, и загородил новый мост тот старый, и теперь из-за нового моста старый не виден, и насыпь другую под новую линию насыпали. И насыпали как раз на расстрельном месте. И мост другой, и насыпь другая.

А место не другое. То место! Там, там, под новой насыпью, лежал когда-то в бурьяне Федор ее, пулеметной пулей пробитый. Она, как сейчас помнила, что стоял он третьим с краю, с двумя упругими кольцами на лбу, с лицом каким-то

безразличным и что-то он тогда, как ей показалось, губами шевелил. Буквы какие, что ли? Может, молитву шептал, да навряд ли. Он и по жизни к богу на поклон не ходил. В старости не ходил, а что о молодости говорить-то. И все же о чем он губами тогда шевелил? О, старая! Жизнь прожила, а, о чем Федор перед расстрелом шептал, так и не узнала. Все некогда было.

Солнце низом своим по горизонту чиркнуло, когда Саня, оставив работу, пошла к Горевке, к тому месту, где еще недавно пленных убивали. Путь ее домой лежал как раз под мостом, где камни гранитные по мелководью через речушку выложены были. Перейти через, подняться чуток выше и правее, и как раз на расстрельное место выйдешь. Место это можно было и обойти, взять еще правее и лугом, лугом, забирая влево, на дорогу опять и выйти. Но Саню словно кто тянул за руку пройти именно мимо расстрельного места.

Мертвых она не боялась. Когда уланы ушли, село ревом ревели, собирая куски мужиков, порубанных на илбане. Не до страху было. Головы отрубленные к телам пристраивали, на телеги грузили и в село везли. Все было как в страшном сне... Страшно было, но ведь это уже было.

Саня перешла речушку, и было ей ничуть не тревожно, тем более что убитых уже убрать были должны. Узнать бы, где зароят, уж больно того, рябого, жалко. Да и не просто жалко, а стоит он у нее перед глазами вот уже полдня. То как будто улыбается, то грустный, и все губами о чем-то шевелит. Будто шепчет что. А может, ей бластится так.

Расстрелянных не убрали. Саня задохнулась от увиденного, когда от Горевки наверх выбралась. Мертвые лежали вдоль насыпи, в перемятом и переломанном бурьяне, светясь в вечернем свете рубахами своими белыми. Похоже, что были они здесь все. Ни одно тело не увезли и не закопали. На утро оставили.

Он стоял в строю третьим с краю. Третьим с краю он и лежал. Он лежал на спине в полный рост, во всю свою длину, подвернув под себя левую руку. В правой руке была травинка. Прижала Санька руки к груди своей и окостенела на мгновение. Стоит и на лицо его, оспинами меченое, смотрит. Смотрит Саня, смотрит и глазам не верит: лицо-то убиенного живое, у всех лица бледные, а у этого вроде как румянец даже на щеке играет. Наклонилась над ним, а у него на виске жилка синенькая тикает...

Сколько лет прошло, а жилку ту синенькую баба Саня до сих пор видит. Прикроет глаза и видит. Реденько она тогда билась, и как Саня ее усмотрела. Отведи она на миг глаза в сторону — и жизнь по-другому бы сложилась. Кто знает какая — лучше ли, хуже?...

Двадцать второго Марин Гудзо тогда сам искал. Всю станцию обшарил, все дома ближние. По селу, где Саня жила, два дня люди с винтовками ходили, все чердаки, все чуланы перерыли. Но не нашли. Двадцать одного похоронная команда в одной яме зарыла, а о двадцать втором только слухи по домам расплозились. Долго сыскные рыскали, но до правды так и не докопались. Коняев наганом стращал Марина, к стенке грозился поставить, но дело не сдвинулось ни на шаг. Двадцать второй как сквозь землю провалился.

Мать Санина, сорокатрехлетняя Дарья Никифоровна, жизнь прожившая в спокойствии и мире, от гибели мужа еще не отошедшая, только рот ладонью при-

крыла, когда под вечер, придя со станции с работы, дочь со слезами на глазах и в голосе призналась ей:

— Живой он, мама... В копешке за нижними талами* лежит.

— Да ты сдурела никак!

— Нет, мама, не сдурела, — Санька смотрела такими глазами, и столько в этих глазах было всего, что мать только обессиленно развела руками и села на лавку.

— Значит, ночью ты с тележкой не за сеном ездила? Его таскала, что ли?

— Его...

— Как же управилась?

— Да он легкий, мам...

— Ишь ты, легкий. И на кой он тебе сдался такой легкий?

— Сдался, мама, сдался...

Саня потянула с головы платок и села рядом с матерью. Была она такая простоволосая, такая беззащитная и светилась таким светом, что мать даже от неожиданности вздрогнула.

— Ой ли... Что ты, Саня! Как же это так? Ты же его и не знаешь...

— Узнаю, мама, узнаю. — И видя, что разговор переключивается в ее сторону, зашпешила. — Он живой, понимаешь, и весь целый. Только вот здесь, — она показала на свою грудь, — только вот здесь дырочка маленькая и на спине под лопаткой такая же. Кровь даже и не идет...

— Не дострелили, значит. И чо делать теперь?

— Не знаю... Лечить, наверно, — Саня заплакала.

— Лечить... Как же! Башка твоя дурья! Да ты дважды на дно сбегай в эти талы и через день нас обоих повесят. Знаешь, Марин какой злой был. Весь сарай перерыл, пока ты на работе была. Весь! Даже гнезда куриные, что в корзинах были, ногой посшибал. А ты — лечить... Не реви. Сейчас сала бы сусличьего добыть.

Сказала мать про сало сусличье, и у Сани глаза просохли. Много ли человеку для счастья надо? Может, много, а может, одного слова хватит.

— В какой копешке спрятан, говоришь?

— Во второй. От Мотькиной калины к Алею** во второй копешке как раз.

— Водой хоть попоила?

— Не пьет он, мама. А рану перевязала.

— И то...

Когда стемнело, Саня туго перевязалась чистым полотенцем, заткнула за него чекушку с водой, сверху кофту накинула и на гулянки пошла. Саня ушла на гулянки, а мать поспешила к Степановне сало сусличье добывать.

Утром Саня на работу ушла, мать с коровой разобралась, прихватила ведро и, громко переговариваясь с соседкой, пошла к Алею за ежевикой. Ежевики в забоках было много. Дня четыре подряд ходила она за этой синей ягодой, а когда Федор в сознание пришел, ходить перестала. Соседке объявила, что все, ежевики, мол, на два года набрала.

А Саня на гулянки продолжала бегать. Обмотается чистым полотенцем, еды какой прихватит и пошла. Утром она на работу, а мать полотенце, кровью меченое, простирнет и, хоронясь от соседей, высушит. Через время Саня и бритву отцову, и помазок с мылом, и ножницы с гребнем на гулянку унесла.

А в конце сентября Федор своими ногами ночью в их дом пришел. И сам пришел, и такую тревогу с собой принес, что мать Санина и думать боялась. Двадцать

* Нижние талы (талыники, прибрежная растительность) — верба, ветла, растут на заиленных берегах (диал.).

** Алей — самая длинная река в Алтайском крае, левый приток Оби.

второго уже по избам не искали, и все вокруг как бы успокоились. Но попробуй ворохни это. Любой, увидев в малаховском доме чужого, тут же разнесет по селу эту новость. А там и Марин даст о себе весточку, не задержится. Этот комитетчик своих не щадил, а чужака, да еще такого, живым зароет.

Лунное пятнышко на календарном листочке почернело, округлилось, и баба Саня облегченно вздохнула. Дожди кончились, утренники начались и солонцы подвяли.

Наталья по первым заморзкам пришла сама, и бабе Сане не пришлось выкручивать ноги, ступая по замороженным комкам грязи. Наталья еще и через порог не перешагнула, а мать уже чайник на середину плиты подвинула, старшая дочь чай любила.

Наталья старше Люськи была, но Петра помоложе. Жила ничего, если бы не младший сын. Старшие жили отдельно, а младший никак ума не мог набраться. То выпивал, то травкой стал баловаться, семьи своей не имел, у мамки грелся. У мамки хорошо — и сыт, и обстиран, и голова не болит. Там рупь, там три, а порой и десяточку позычит.

Баба Саня Наталью уважает, но позови Наталья ее к себе на жительство, не пойдет. Там непокой, там сынок куролесит. Между кувырками и обидеть легко может. А бабе Сане это нужно? Баба Саня сама в жизни никого не обидела, и сама обиженной быть не хотела.

Когда в войну ленинградцы эвакуированные по местным распределялись, она помнила, сколько среди приезжих было обиженных и униженных. Сколько их тогда волосы на голове рвали, когда получали вскрытый и разворованный багаж! А сколько местных тут же по месту обидели! Люди от беды спасения искали, к своим ехали, а свои же их и обижали. Была одна такая эвакуированная и у бабы Сани. Не совсем, чтобы у бабы Сани, а при экспедиции поселена, в пристройке. В экспедиции она и подрабатывала, под бабы Саниным крылом. Варечкой звали. Когда уезжала, то отблагодарить пыталась. За доброту. Колечки с камушками давала, да баба Саня рукой игрушки отодвинула.

— Окстись, девонька, али я некрещеная...

Баба Саня была крещеная и крестик на груди носила по праву.

В тот вечер она сидела с Натальей долго. Спешить было некуда, Наталья пришла с ночевкой. Уже и Люська два раза прибегала — то соль ей вдруг мелкая понадобилась, то луковица. Ума на большее, чем луковица, не хватило, но ей было очень интересно знать, о чем же это мать с Натальей речь ведет. Наталья же лишнего при сестре не говорила, только на здоровье пожаловалась. Люське до ее здоровья дела не было, у Люськи своих забот хоть лопатой гребь. Третьего дня Андрея за пьянку с работы погнажи, от сына Кольки из Рубцовска, где он на токаря учился, второй месяц ни письма, ни весточки, до зарплаты восемь дней, а у нее в кошельке два рубля с копейками.

Наталья с матерью уже постели постелили, когда Люська заявила в третий раз. Пришла вся воинственная и деловая.

— Я, мам, забыла сказать, я там договорилась в гортопе и завтра уголь тебе привезут. Две тонны.

— А на кой он мне? — баба Саня удивленно поглядела на Наталью. — Я ж разве просила? У меня угля еще года на два хватит.

Наталья усмехнулась, Люська усмешку заметила и, поняв, что маневр ее войти в разговор не удался, напустилась на сестру.

— Все секреты разводишь? Думаешь, я не знаю, куды ты метишь? Я маме во всем помогаю, я! И дом этот мой! Я маму отсюда никуда не отпущу.

И с этими словами уселась на стул около печки. Уселась по-хозяйски, словно бабы Сани здесь и не было.

— О! Хозяйка нашлась. Ты эту хреновину из головы выбрось. У тебя мозги от водки совсем усохли. — Наталья на слово была хлесткая, и если что, то брила наголо. — Свой дом сначала до ума доведи, потом до маминого добирайся. Ишь, наследница выискалась.

— Да, наследница! Дом этот мой и все. А мама будет жить у меня.

— А маму ты спросила? А меня? А Сергея с Петром? Как легко решила «дом мой». Сейчас, как же... Сережку забыла?

Люська Сергея не забыла, Люська Сергея помнила. Помнила и ненавидела.

Когда Федор заболел и врачи сказали, что надо готовиться к худшему, то баба Саня про беду такую и Петру, и Сергею написала сразу же. Пока письма ходили, пока то, пока се, Люська быстро сообразила, что к чему, и выпребла из буфета у бабы Сани всю посуду серебряную. Баба Саня зароптала, но дочка бунт этот быстро погасила.

— Ты, мать, век свой со мной доживать будешь. Умрет папа, я тебя здесь одну не оставлю. Отдадим с Андреем тебе комнатку нашу дальнюю, а этот дом или продадим, или еще что... Там видно будет.

Она так легко сказала «умрет папа», так просто решила поселить мать в дальнюю свою комнатку, что баба Саня растерялась, оцепенела даже и ничего ей в ответ сказать не смогла. Она еще верила, что Федор поправится, коренья отваривала, чагу, поила этими отварами слабеющего мужа, видела, как он уходит, и все равно верила. Ведь могут же и врачи ошибаться, скажут так, а оно как раз и не так. Петр на письмо ответил, но ничего не обещал, у него тоже со здоровьем было неважно, а Сергей пообещал выхлопотать отпуск и вскоре приехать.

Лето шло и в начале августа Сергей приехал.

Врачи не ошиблись. Федор умер легко. В сознании был и даже слова сказал. Не бабе Сане сказал, а Сергею.

— Маму догляди... Сам догляди, Люське не отдавай...

Сказал и к стенке отвернулся. И все. Баба Саня слова его последние слышала и поняла, что они теперь как тайна самая тайная принадлежат только ей и Сергею. Отбили телеграмму Петру. Прилетел.

На другой день после похорон, когда уже с утра сходили на кладбище, отнесли Федору завтрак, уже дома, сидя за поминальным столом, Люська не выдержала и, находясь в легком подпитии, все планы свои и раскрыла. Так, мол, и так, поскольку я к маме ближе всех, то я маму и догляжу. Будет жить она у нас с Андрюшей в дальней комнате, мы так уже и решили с мамой, а дом продадим. Я уже и покупателя нашла — Юрку Шатохина, он его сыну своему Вовке купит.

Молчала баба Саня, остальные переглядывались и тоже молчали, а Люська это почувствовала как согласие с их стороны и продолжала:

— Нет, дом, наверно, продавать не буду. Много за него не дадут, а мы лучше из него сарай хороший сделаем. Печку Андрюша уберет...

— Ну, дела! — Сергей смял сигарету и резко встал.

Зная младшего брата характер, Наталья вся сжалась. Петр отвернулся.

— Та-ак... Значит, маму в келью, а сюда курочек с гусаками запустишь или свиней каких? — Он посмотрел на растерявшуюся мать, потом на Люську. — Ты,

значит, с мамой так решила? Что-то я сомневаюсь, что мама согласна. А мы вот у нее сейчас и спросим...

Потом был крик. Люська кричала и топала ногами. Она понимала, что если сейчас на своем не настоит, то все ее планы пойдут кувырком. Она этого не хотела, она уже в уме все распределила, она уже была на целый дом богаче, и тут этот... Как она его ненавидела! Скандал погас быстро, как и начался. Сергей его погасил несильной оплеухой, от которой Люська, и не охнув, боком выпала через порог в сени. Андрей не вступился, только Наталья зашумела.

— Не надо, Сережа, не надо!

— Да я что? Я ничего... Ты на маму посмотри. Нашла кого жалеть! Ни черта ей не будет, а промолчим — маме хана. Она ж все променяет на водку: и маму, и дом. Сарай, видите ли, ей шибко надо. Как же...

Наталья после скандала убралась к себе домой. Уходя, матери шепнула:

— Ничего, мама, ничего. Ей давно пора укорот сделать. Ты не переживай, все образуется...

Люська как с криками ушла, так больше и не приходила. Все успокоилось. Потом была ночь, которую ни Петр, ни Сергей, ни баба Саня не спали. Они долго судили и решали и договорились, что баба Саня пока поживет одна. Она еще в силе, палево есть, пенсию за Федора будет получать. Федор воевал, награжден орденом был, по инвалидности имел первую группу. За три месяца до смерти дали. Да и сыновья обещали помогать.

Утром Сергей к Люське сходил. Что он там говорил, баба Саня не узнала, и шуму не было, только вернулся от сестры со всем тем серебром, что Люська у бабы Сани месяц назад выгребла. Да там и серебра-то... Но все равно бабе Сане было очень обидно за тот Люськин поступок.

Через три дня улетел к себе домой Петр, а Сергей весь отпуск у бабы Сани провел. Забор поправил, калитку, лист оторванного шифера на крыше закрепил, бурьян тяжелый в низине огорода выкосил. Три раза за Алей ходил, ежевики бабе Сане на зиму заготовил. Картошку копать было еще рано, и он об этом сожалел.

— Еще бы пару недель — и картошка как раз бы подошла.

Но картошка не спешила, а отпуск кончился.

Потом и Сергей уехал. Сергей уехал, и в доме дико стало. Никто не ходит, никто не дышит. По ночам спать тревожно. И тревожно, и неудобно, даже холодно как-то. В одну из таких тревожных ночей Федор и пришел к бабе Сане первый раз, в смысле после смерти. Колготилась вечером, колготилась, да все по мелочам, по-пустому, и сморилась. Спать легла, а дрема ее, как одеялом нагретым, укрыла. Только дремать начала, только глаза крепко сплющила, слышит: где-то над ней высоко-высоко конь негромко ржет.

Подняла баба Саня глаза, а перед ней гора крутая-прекрутая. И по этой крутизне ни одной тропки, все песок какой-то сыпучий, а баба Саня совсем и не баба Саня, а просто Саня, только уже мужняя. Ни одной тропочки по этому песку не видно, а Сане край на эту гору надо. Смотрит она наверх, смотрит, а по самому краю горы конь гнедой масти ходит. Точно такой же масти, как под теми уланами, что мужиков на крайнем илбане порубили. Ну, может, чуть порыжее. И Саня знает, что ходит этот конь не просто так. Он будто бы Саню ждет.

Саня только до горы подступится, только на шажок поднимется, а песок вниз и сползет. Она пытается еще раз и еще раз. И так ей досадно становится, что не может она с этим песком справиться, а конь будто бы к ней боком встал, и видит она, что он под седлом. Значит, точно ее ждет. Тут и слышит она голос Федора.

— Что ж ты в песке толчешься, ты вон там попробуй, где крушина растет.

Смотрит Саня — а, и правда, куст крушины растет рядом. Как же она его раньше не видела? Стоит куст, а вокруг него все ежевика да ежевика. Такая густая и плети сверху горы до самого низа спущены, только берись за них и поднимайся. Полезла Саня вверх и диву дается — легко-то как она поднимается, а плети ежевичные мягкие, будто шелковые, и на них ни одной иголки. Вылезла Саня на гору, смотрит, а конь-то это их. Мухортик! Тот самый, которого Федор на Орловом мысу в околке* поймал.

Подходит она к коню, а конь и сам к ней идет, губой рваной вздрагивает. Саня стремя в руки берет, садиться в седло хочет, а Федор будто бы ее за талию сзади подхватывает и сесть помогает.

— Ты пока одна поезжай, а я после приду.

— Куда ехать-то? — Сане в седле удобно, и стремя в пору, как будто под нее подогнаны.

— Прямо и поезжай... Коня у брода напои.

— А ты когда придешь?

— Скоро... Как только Марин меня убьет, так я и приду.

А Саня ему и говорит:

— Так он же тебя уже убивал.

— Не, не убивал. Убивал Коняев. А теперь Марин должен, иначе никак... — А сам улыбается.

Саня верит Федору, соглашается с ним, и ничего-то ей не страшно. Пустила коня, а где-то под горой далеко внизу петух вдруг закричал, да так ясно, будто жильё рядом. Только о жильё подумала, только угол дома бревенчатого как бы показался, тут и проснулась.

Проснулась баба Саня, а по окнам уже рассвет шарит. По окнам рассвет, значит, шарит, а в сарае петух кричит. Вот он, горластый, откуда в сон попал. Из сарая бабы Саниного.

Мухортик... Гнедой жеребец с белыми тонкими бабками, с желтоватыми подпалинами в пахах и рассеченной верхней губой появился в доме Федора и Сани совсем случайно. Когда Санина мать со слезами на глазах благословила молодых иконой и дала свое родительское согласие на их брак, то и двух дней не прошло, как темной сентябрьской ночью по залитой дождями луговой тропке проводила она их к переправе через Алей. Ни Федор, ни Саня еще не знали, в какую дальнюю дорогу они вышли.

В селе Федору оставаться было нельзя никак. Люди Марина нет-нет да и навывались и как бы ненароком, ненароком а все о двадцать втором выспрашивали, да только никто ничего не видел. И не видел, и не знал. И это было правдой.

Спрашивать вооруженные люди спрашивали, но ни имени, ни фамилии Федора не называли. Не знали, не было никаких документов на тех пленных, ни списков, ни фамилий, только число, и то устно, — двадцать два и все. Да им Федора в лицо покажи, они опять бы не решились — он это или не он. Не знал его в лицо никто. Конвойные если бы увидели, то, возможно, и признали бы, рядовой был не совсем обычный, была в нем изюминка какая-то, и стать, и чуб, и вообще. Никто не знал, никто не помнил, а Марин знал. И знал, и помнил. У этого комитетчика глаз на лица был наметан, и Федора он еще там, на станции, заметил, всех бегло осмотрел, а на нем задержался. Федор эту задержку отметил, но глаза отвел. Зверю в глаза смотреть опасно.

* Околк (колк) — небольшая одинокая береза или осиновая роща среди степи (диал.).

Этого особого среди убитых Марин после расстрела и не нашел. Нос с горбинкой, лицо в оспинах, да еще этот чуб, на лоб падающий. Как не запомнить. Красивый, Марину не чета. Может, это и бесило Марина больше всего. Как же! И красивый, и жить остался. Красивый — это все одно, что талантливый. Он талантливый, а ты бездарь, в смысле урод, у него руки за спиной связаны, а у тебя наган в кобуре и революция кругом. Кругом революция, у тебя власть, а пристрелить некого. Просто беда...

Вот и беленился комитетчик, чувствовал, что живой где-то этот недостреленный ходит, живой. Добыть бы его да добить бы. А потому и было решено уйти Федору с Саней к Саниной тетке по отцовской линии в село Чистенькое, что ниже по Алею верст за тридцать. Если все сложится ничего, то там пока и обосноваться.

Не всегда же время смутное будет, страшные силы в боях сошлись, но какая-то да переможет. Уже перемогает. Колчаковцев то там разобьют, то там. Мамонтовские партизаны набрали силу, а им вслед революционная власть крепко на ноги становится. А как только эта власть шататься перестанет, так и буря успокоится, всякая муть в осадок выпадет и жизнь высветлится. Но пока до той жизни высветленной было далеко, много дальше, чем до Чистенького, куда шли с узелками той ночью Саня с Федором.

Тетка их приняла. Скупое приняла, суховато, но молодые и этому были рады. Саню в Чистеньком знали, она сюда часто с отцом своим Прокопом навещалась, а Федором поинтересовались постольку-поскольку. Муж Санин и муж.

Дня через два, когда Федор, выломав в плетне два сгнивших звена, вокруг вбитых свежих кольев заплетал новые хлысты чащи, подошел к нему Иван Нестеров, представитель местной власти, и разговор завел.

Спрашивал прямо, не лукавя:

— С каких краев родом будешь?

Федор вынул из связки чащину, погладил пальцем срез, улыбнулся и рукой на восток махнул.

— С гор. Из-за Чарыша.

— А в наши края каким ветром задуло?

— Каким ветром? — переспросил Федор и улыбку погасил. — Ветер в России сейчас один, вот им и задуло.

— Да-а, — протянул Иван. — Времечко тяжелое. Ну ниче, перебудем... А плетень-то ты, паря, ладно плетешь. Приходилось, чо ли?

— Дак не из бар, как же не приходилось? — Федор тряхнул чубом.

— Без плетня какая жизнь? Что без плетня, что без коня. Голый двор... А голый двор что баба без мужика: кто ни пройдет, тот и щипнет.

— Это ты верно говоришь, — Ивану Федор понравился. Вроде молодой, а рассуждает серьезно.

А Федор и впрямь на жизнь свою новую смотрел серьезно. Плетень поправил, топор наточил и три дня в талах на Орловом мысу жерди осиновые рубил. Рубил и тут же шкурил. Сарай тетке выправил, балки полусгнившие подпер. До весны, сказал, выстоят, а летом новую крышу сделаю.

Смотрела тетка на старания Федора и Сане говорила:

— Ну, Саня, толковый мужик тебе достался. Хушь и рябой...

В конце октября, когда опал весь лист и околки оголились подчистую, Федор поправил на оселке топор, прихватил нарезанного хлеба да пару вареных яиц и подался в талы на Орлов мыс чащу рубить. В такое время, прихваченная первыми утренниками, чаща рубится в удовольствие, и выносить ее сквозь заросли на поляну нетрудно. Лист осыпался, жилины легкие, руби да выноси и в будущие связки укладывай. Ударит мороз, схватится Алей, и по первому снегу можно будет на

санках все перевезти к дому, где чаща за зиму проморозится, за весну подвялится, а летом ею и крышу можно будет обновить да и плетень тоже.

Он уже заканчивал работу, когда вдруг послышалось конское порсканье. Федор замер, прислушался, а сквозь кусты, на той самой опушке, где чаща в кипах лежала, вроде тень качнулась и снова порсканье послышалось. Федор на поляну вышел, коня увидел. Увидел и понял: либо всадник коня потерял, либо конь всадника. Грива и хвост репьем забыты, седло на бок съехало, поводья уздечки по швицу порваны и у ног передних болтаются.

— Ох, господи... — Федора озноб прошиб.

Чужой конь, ничей! Только бы до уздечки добраться. Хлебца бы сейчас, с воробьиный бы клюв. Хлеб есть, в тряпице на ворохе чащи лежит, в трех шагах, но сделать надо эти три шага по направлению к коню. Испугается и уйдет. Федор к тряпице подвигается, а сам на коня смотрит, на уши его. Не понравится ему что-то в Федоре, мотнет головой, развернется задом и попробуй его возьми. Ты шаг, и он шаг, и будешь за ним до ночи ходить и не подойдешь. Ладно к узде не подпустит, так еще и копытом ударит.

И Федор рискнул. Отвел глаза свои от коня, смотрит как бы в сторону, к хлебу подошел, а сам глазом ловит — как он, конь-то? А конь стоит и ушами не прядает. Смотрит Федор на ноги его, хлеб из тряпицы вынимает, а самого чуть ли не дрожь бьет. А когда хлеб на правую ладонь положил, когда левую руку за спину убрал, чтобы не мешалась, чтобы коня ненароком не напугала, когда в глаза коню посмотрел, то понял: не уйдет, хлеб зачуял.

— Косенька, кося, кося, — еле слышно пришептывал Федор и мягкими шажками осторожно продвигался к коню. Всего шаг до коня оставался, когда тот сам к ладони потянулся. Задрожала у коня верхняя рассеченная, но уже зажившая, губа и в ладонь с хлебом ткнулась.

Первое, что сделал Федор, разуздал коня, железо изо рта вынул. Конь жевал хлеб, смотрел на Федора, а Федор гладил его большую теплую морду и только сейчас начал понимать, какое счастье ему привалило.

Конь! Может, и правда есть на свете Бог, что вот так ни за что, ни про что взял и одарил человека счастьем. Теперь с конем было очень легко решать многие житейские вопросы. Как коня звать, Федор определил сразу — Мухортик. Гнедого с желтыми подпалинами в пахах иначе не назовут.

Федор осматривал помятые удилами губы коня и сокрушался:

— Сколько же дней ты с этими железками ходил?

Конь на вопрос не отвечал, тянулся к Федору губами, косил глазом, прядал ушами, и было ясно — долго ходил, но теперь ему хорошо.

Потом Федор, связав поводья порванной узды и пристегнув коня к растущей осинке, снял с него седло. Седло было новое из красной телячьей кожи, а с правой стороны к нему сумка приторочена. Также кожаная и тоже новая, и была она застегнута на желтую бронзовую пряжку. В ней что-то было.

Пряжка щелкнула сочно и мягко. Федор клапан отвернул и по сторонам оглянулся. В сумке, глядя черным дулом вверх, лежал наган, а ниже, желтенькие, как желуди, патроны насыпаны. «Пригоршни две будет», — подумал Федор, примеряя к ладони холодную вороненую сталь. С наганом встречаться ему приходилось, точно такой у отца, Ивана Романовича, был. И стрелять тоже приходилось, отец научил. С таким наганом, заткнутым за ремень за спину, в той прошлой жизни ему не раз приходилось кожи готовые сопровождать в Рубцовск к Парфенову, потому как времена были уже смутные, германская война шла и непонятный люд в степи нет-нет и появлялся.

Когда Федор попытался зачерпнуть в ладонь десяток патронов, то увидел еще и табакерку. Изделие из черного серебра было невелико, но на вес оказалось тяже-

ловато. На крышке выдавлена скачущая тройка, а внутри лежали плотно сложенные в столбик и туго замотанные в голубой бархат золотые десятирублевки. Бархат был перевязан ниткой. Монет было восемнадцать. А к монетам еще и довесок, в отдельном бархате — серьги золотые, пара, с бриллиантами. Федор бриллианты оценил сразу, они были крупнее тех, что его мама в своих серьгах носила.

Золото...

А рассвет по окнам шарит сильнее и сильнее. Петух затих. Проголосил еще раза два и успокоился. Уже светало, что голосить-то. Бабе Сане не хотелось вставать, ей хотелось опять туда, в сон свой опуститься и досмотреть, что же за дом показался такой бревенчатый?

Ей прошлое было жаль. Вроде жаль, а вроде и не жаль. О, Господи, она вздохнула, какое ж оно, это прошлое, сладкое, какое тревожное. Сколько ночей бессонных пришлось пережить им с Федором, укрывая жизни свои от всякой лихости. И вот удивительно: сколько прошли загородок, сколько петель да крюков миновали и — ничего. Бабе Сане порой казалось, что она не жизнь прожила, а сон просмотрела, как-то все легко и просто получалось, и она подумывала: а может, это не жизнь была, а сон длинный-предлинный и жить ей еще предстоит. И тогда она вздрагивала, нет, такую жизнь снова прожить ей не хотелось.

— Ишь ты, еще одну такую же... На кой... Нет уж, как прожили, так и прожили, не хуже других, а то, что бегали, так не мы одни, все бегали. Кто мог, тот и бег...

На сорок дней пришли Наталья, Ульяниха с соседями. Пришли и Люська с Андреем. Сидели недолго, не праздник. По паре стопок выпили, огурцами солеными похрустели, покойного добрым словом вспомнили, и сумерки еще не наступили, когда все разошлись. Люська водку не пила, так пригубила чуть-чуть и в основном молчала. Она сидела и делала вид, что если бы не «сороковины», то и ноги бы ее здесь не было.

Потом подошла картошка. Убрали картошку, подошла капуста. Засолили капусту, выпал снег. Первую зиму без Федора бабе Сане было тяжело. Печь растопи, снег расчисти, воды из колодца принеси, живность накорми, снегу им дай. Хоть и куры, а жрать просят. И главное, поговорить не с кем. Ульяниха разве когда навещается. Туда-сюда и — вечер. Зимний день короткий, зато уж ночь длинна. И если бы не фотографии...

Мало их у бабы Сани, этих фотографий. Не то время было, не до красований. Иван Нестеров много позже разговора с Федором в Алейск мотался, на станцию. Вроде утихомирилась округа, но глаз революционный должен быть зорким, а Иван был революции предан. Ей, этой революции, многие тогда поверили, многие многих с этой верой и в землю положили.

Никишка Алистратов, когда по уланам стрельнул, тоже в красную правду верил. Чем дело обернулось? Сам спасся, а полсела на илбане зарыли. Иван Марину Гудзо, когда на станцию по делам приехал, первым делом и доложил. Так, мол, и так, появился в Чистеньком новенький какой-то, Саньки Малаховой, дочки Проккопа большепанношовского, уланами убитого, мужик, что ли. С гор будет... Вот и забота, думаю, а почто не у мамки пожилось, почто к тетке пристали? Такой вопрос, вам и докладую.

Марин, сидевший за столом в позе хищной птицы, аж привстал и на крыльях черные оперся.

— Чужак, говоришь? С гор, говоришь? А на вид каков?

Иван и обрисовал Федора. У Марина в глазах звезды заиграли.

— Выплыл, значит... Никому ни слова! Ты меня слышишь? — Иван Марина хорошо слышал. — Сегодня не могу, завтра тоже, а третьего дни жди меня в Чистеньком. Не спугни...

А еще Иван сказал, что у этого чужака конь откуда-то появился. Безлошадный был, а тут такого красавца мухортого во двор привел, глаз не оторвать.

— Спрашиваю: откуда жеребец, чей? А он мне сказку рассказывает: в околке, мол, поймал. Безхозный, мол. Чащу, мол, рубил, а он и прибился. Я что-то не верю. Ни к кому не прибился, а ему фарт, видишь ли, как с небес.

— Жеребец? Жеребец — это хорошо. Нам кони нужны. Ступай и слово мое помни, а за службу благодарю.

Иван наказ помнил, дважды с Федором ни о чем потолковал, а на третий день Марина дождался. Марин не мог не приехать, только приехал он, когда уже сумерки спускаться начали. Приехал один. Коник под ним был другим не чета. Еще бы! Главный надсмотрщик, комитетчик, он сам решил дело справить, исчезновение двадцать второго считал личным поражением. Расстрелянный убог, что за шутка? Над кем?

— В каком доме будет?..

Ноябрьские звезды в преддверии холодов густо украсили сибирскую ночь, когда Марин въехал в раскрытую воротину теткиного подворья. Увидел хрустящего сеном коня, лихо покинул седло, ощупал в кобуре наган и наскоро привязал к прожилине своего вороного. Что-то он заспешил, и въехал не тихо, и с седла прыгнул очень уж боево.

А Федор не спал. Молодая жена, молодая кровь, молодые мечты. Да и вообще, мало ли что молодая жена с молодым мужем перед сном делать могут. Могут о любви говорить, могут о жизни, тем более что впереди было не все так прозрачно. Молодые понимали, что здесь им не жить. Рано или поздно, а революция победит, и тогда спросят уже плотно: а кто вы такие? И пошто здесь? Ответ на находился, но зато созрело решение: уходить на юг, туда, где скоро развернет свои магистрали Турксиб.

Непристроенный до жизни, потревоженный народ с узлами и чемоданами двигал на Семипалатинск, откуда шли уже наметки дальше — на Аягуз, на Актюгай, на Луговую да на Балхаш, поближе к медным рудникам. Скоро сойдутся там и судьбы, и дороги. Кто-то затеряется, кто-то возродится...

Новые правители еще власть не взяли, а о будущем думали. Думали о своем будущем и Федор с Саней. Думали, говорили, шептались. Говорить говорили, но Федорово настороженное ухо уловило-таки тяжелый конский топ на подворье. Федор метнулся к окну, из-за занавески глянул, а ночь хоть и темная, да звездная.

— Вставай, Санюшка, за мной пришли...

— Кто, Федя, пришел-то?

— Не разговаривай... Марин приехал. Я ухожу, а ты пожитки собери да меня поджидай.

А сам уже портянки на ноги крутит и наган из-под постели за пояс сует.

Саня Марина знала, все поняла и никаких слов больше не говорила.

А Марин хоть и спешил, да опоздал.

Он уже в дверь кулаком стучал, уже слышал, как из сеней спросили: «Кто там?», когда у него за спиной хрустнул плетень и длинная темная полоса метнулась в огороды.

— Не уйдешь! — Марин чертыхнулся и кинулся вслед. Он знал, что это был тот, за кем он пришел, кого он убить не просто должен, а обязан.

Федор уходил, Марин преследовал. Федор уходил к Алею, только бы до талов добежать, только бы до воды. Федор на реке вырос, ему что вплавь, что под водой. Хоть и холодна вода, но выхода нет.

А Марин гнался и не знал, что наган есть не только у него. Откуда у двадцать второго оружие может быть, да еще у поднятого с постели, со сна? Конечно, он и с голыми руками представляет опасность, но Марин его достанет.

А у Федора другое было в голове: ну, уйдет он от погони, а что потом? А что будет с Саней, с матерью ее, с теткой? Что будет с ним, в конце концов? Марин бойцов поднимет, всю округу оцепят, и куда он денется на двух ногах? Впереди зима, вот-вот снег ляжет и морозы придут. Затравят, как зверя...

Талы... Сколько здесь всякого было? А всякого здесь было много. А сколько еще будет? Ну это будет когда, а пока вот... Федор нырнул в кусты, перешел на шаг и присел за куст колючего шиповника.

Чаща росла густо и ночью казалась совсем непроходимой. Марин видел, где скрылся беглец, стрелять не стал — и далековато, и темно. Тем более на бегу. Да у него, уверенного в безоружности беглеца, и наган был еще в кобуре. Достать недолго. При его-то практике! Главное, настичь.

Настиг он беглеца прямо на входе в чащу. Федор встретил Марина сам, молча. Он выпрямился из-за куста, когда преследователь был в пяти шагах. У Федора уже и дыхание подровнялось, когда Марин набежал на его пулю. Сам набежал, не смог остановиться и наган достать не успел... Практика практикой, а пуля пулей.

Заседлав Мухортика, прихватив маринского вороного, со скарбом и небольшим запасом еды Федор с Саней в ту же ночь покинули Чистенькое. О двуконь... Дорога у них была одна, на юг. Там Турксиб строился, скоро там, в Средней Азии, на этой великой стройке много народу сойдется, и честного, и нечестного, и пришлого, и иного.

Баба Саня на этот раз очень долго рассматривала одну из последних семейных фотографий. Эта фотография ей нравилась больше всех других. Семейная, предвоенная, со штемпелем в правом нижнем углу, где был изображен белый пароход и в виньетке надпись красовалась — «Балхаш». Эта фотография напоминала о том времени, когда в семье Федора и Александры Прокоповны царили мир, покой и благополучие. На фотографии была счастливая семья — в центре сидел Федор в светлом костюме, рядом с ним стояла Саня, Александра Прокоповна, а по бокам две девочки, которая постарше Наталья, поменьше которая — это Люська. Люська белобрысенькая, Наталья черненькая. А сзади всех стоял высокий юноша с вьющимся волосом. Это был Петр. И это было перед самой войной. Сергея еще не было.

Федор был не с гор. Про Алтайские горы он Ивану Нестерову тогда неправду сказал. Нельзя было правду говорить.

Федор родился и вырос на равнине в семье Ивана Романовича Карамышева, известного всей округе заводчика, держателя хорошего кожевенного завода. Завод этот строил дед Федора Роман Данилович Карамышев, бывший крепостной барина

Шмачкова Тамбовской губернии. После отмены крепостного права Роман Карамышев с дружками на Урал ходил. Чем занимался, никто не знал, вернулся через три года, приехал сам и привез молодую жену. Сгрёб стариков, усадил на подводы и махнул на вольные земли, на Алтай, где ниже селения Калмыцкие Мысы на реке Локтевке, в самом ее устье, на стыке с Чарышом и поставил завод кожевенный.

Мастерству кожевенному обучился на Урале, там и золотишком разжился. Богатство это, им на Урале добытое, никто не видел, и как оно добыто было — неизвестно никому тоже. Умирая, все передал сыну единственному, Ивану. Иван же Романович (теперь уже) тайны этой также никому не доверил. В конце жизни передал бы все Федору, да не случилось, большевики пришли.

В далеком Петрограде в семнадцатом году какая-то пушка стрельнула, волну большую подняла. Докатилась эта беда и до карамышевских угодий. Революция для бездаря — счастье. Хочешь бить — бей, хочешь пить — пей. Бери винтовку и становись командиром. Пришли эти бездари и к Ивану Романовичу. Жизнь налаженную порушили, скотину какую порезали, какую по округе разогнали, большую часть коней свели. Вот тут и Федор в обмолот попал.

Разгоняя и отстреливая новоявленных командиров, разъезд второго кавалерийского полка адмирала Колчака, объезжая дозором балки и перелески Причарышья, расквартировался в уцелевшей усадьбе Ивана Романовича. Старший разъезда дал бойцам отдыху два дня, которых и хватило, чтобы разобраться с семьей заводчика.

Суть разборки была проста: хочешь своим добром владеть — защищай его, кстати, сам еще можешь послужить отечеству, а уж о сыне, о Федоре, и речи быть не должно. Коня ему, седло ему, а обмундирование со штыком в полку получит. Этого у нас, сказал штабс-вахмистр, предостаточно. А когда узнал, что Федор грамоте обучен, что Федора школьным наукам обучал приставленный человек, привезенный Иваном Романовичем из самого Новониколаевска специально для обучения наследника, в восторг пришел.

— Да я его на такую должность пристрою, семь раз спасибо скажет!

Случилось это в начале июня, а в конце лета Федор оказался не пристроен, а построен в расстрельной шеренге перед железнодорожным мостом. Не воевал, не убивал. За что под пулю поставили — неясно.

Скорый отряд из бригады партизана Мамонтова, совершая рейд со стороны Боровского, на рассвете под командованием местного уроженца Семена Кречета на рысях подошел к Шипуново, часовых снял, половину роты второго полка порубил, более двух десятков в плен взял, раненых, которые колчаковцы, добил, а целых пленных в сторону Барнаула в скотском вагоне отправил. С той стороны на станцию Алейскую этот вагон и прибыл. Там Марин Гудзо с Федором и пересеклись. Сначала взглядами, а потом дорожками.

И было похоже, что все, чему за свои двадцать три года Федор обучился, оказалось никому не нужно: ни знание дела кожевенного, ни умение хозяйство вести и много еще всякого, чему его обучил родитель — и гусей пролетных над осенним Чарышом стрелять, и сети ставить, и чаны с кожами блюсти, и сечку дубовую готовить, и самостоятельно возить кожи готовые в Рубцовск заготовителю Парфенову.

Но, как судьба ни старалась, а Федор к смерти не был готов. Посторонила древнюю старуху другая женского рода, но не черная, не с косой, а молодая и красивая.

Баба Саня смотрела на фотографию, а за окном гудел буран, и она знала, что утром ей опять до ломоты в руках ворочать тяжелые снеговые пласты. Южные

ветра, приносящие верховые бураны, глухо запечатывали снегами деревенские избы. Не обходили эти бураны и бабы Санину избу. Как Федор ни старался, ни выверял расположение будущего строения, а буранам угодить не смог. Иной раз завьюжит, но перед крыльцом после бурана голо, а иной раз ветер косину даст, на чуток только — и забьет снегом и крыльцо, и двери, и весь двор до самой калитки на улицу.

Рассвет сквозь замерзшие окна еле-еле пробился, когда по ступенькам крыльца заскребла лопата. Это была Люська. Как только уехал Сергей, она себя повела как ни в чем не бывало. Ну подумаешь, получила оплеуху, так за дело, не болтай языком раньше времени, а если болтаешь, то думай. Об этом ей и Андрей после сказал. «У отца еще ноги не остыли, а ты уже к дележке приступила. Не спеши, никуда этот дом не денется, мы здесь рядом, все наше и будет...»

Баба Саня убралась и пошла в сени, чтобы отпереть уличную дверь. Снегу намело за ночь не так и много, но плотно. Люська рубила его штыковой лопатой и присела на кухонном сундуке уже хорошо взопревшая.

— Себе чистила, дай, думаю, и маме откидаю.

Доброта из нее последнее время так и перла.

А баба Саня уже и грубу* растопила. Пока с Люськой парой слов перекинулась — и чайник заурчал. Блинов не было, но хлеб с маслом был, и колбаска была. Почаевничали, Люська и говорит:

— Кольку моего, наверно, посадят.

Колька — Люськин сын. Шестнадцать лет, а ума на десять. Ума на десять, а вымахал с оглоблю. Учился на токаря, бросил, ходит теперь и баклуши бьет. Ширмачит.

— За что ж его?

— В Барнаул с дружками на пригородном ездил, ну и всей гопой кого-то в вагоне побили. Говорят, что еще и шапку с шарфом сняли.

— Зачем ездил?

— А спроси его?

— Ты мать, ты и спроси. Водку в сторону отодвинь и спроси.

— Да я, мама, уже и не пью.

— А то я не вижу. Колька твой пропащий. И ты пьешь, и Андрей твой пьет, а пацану куда деваться?

Люська не знала, куда Кольке деваться. Прокурор знал.

В конце зимы Кольке дали три года и отправили в исправительную колонию. Люська долго не могла добиться куда — то ли в Усть-Каменогорск, то ли в Змеиногорск. Письмо от Кольки пришло в конце июня из Усть-Каменогорска. Колька писал и плакался, что ему там плохо, что его обижают и делают с ним что попало. Андрей по малолетке сам сидел и по письму понял, что там с Колькой делают.

— Отсидит, домой не пушу...

А еще у бабы Сани была фотография, где Федор стоит около паровоза с ветошью в руке, и по всему видно, что он не просто эту ветошь держит. Он этой ветошью только что драил латунные части паровоза. Он драил, а его в кино снимали как передового помощника машиниста. А потом это кино в клубе железнодорожном показывали.

* Груба (грубка) — голландская или комнатная печь (диал.).

Когда они в ту ноябрьскую ночь о двуконь на юг подались, то первая станция, где они рискнули объявиться, была Рубцовск. Федор знал в Рубцовске один дом, где его могли приветить. Это был дом заготовителя Парфенова Егора Семеновича. Подъехали к дому в сумерках со стороны Алея, ворота открыл сам хозяин. Федора узнал, коней принял, едой и ночлегом молодых обеспечил, лишнего не спрашивал, он уже знал от самого Карамышева, что Федора колчаковцы рекрутировали, только вот где его судьба носит, Иван Романович не сказал. Не ведал.

Но, коль объявился живой и здоровый, в гражданском, да еще с молодой женой, значит бросил белую службу, значит красным служит. Федор про Марина ничего Парфенову не сказал. Зачем лишнее говорить, он и Сане не все до конца рассказал, но Саня сама догадалась. Когда в околке дневалили, то Федор наган чистил. Зачем чистил, если не стреляя? Спрашивать не стала, не женское дело, но тревоги под сердцем прибавилось.

На зиму у себя Парфенов молодых не оставил, пару месяцев пожить дал, кой-какую правду о них прознал, а поскольку Карамышев хорошо его кожами в прошлые времена подпитывал, подличать не стал и за три золотых монеты и пару коней принес Федору с Саней выправленный документ, где говорилось, что Федор и Саня семья, а фамилия их Малаховы, и что по указу рубцовских революционных властей откомандированы они на строительство Турксиба в город Семипалатинск.

Семипалатинск молодых встретил, приветил и поселил их во временном бараке. Временный барак затянулся на долгие месяцы, но была работа, платили деньги, а уже в разговорах мелькали названия будущих железнодорожных станций — Аягуз, Актогай, Луговая...

Все как в тумане: и тифозный барак, где Саня больных обихаживала, и шпалы, что Федор укладывал. А потом был Балхаш с огромными сазанами, и станция была, куда к поездам Саня этих сазанов жареных пассажирам выносила. Потрошить их и вкусно жарить она научилась быстро.

НЭП... Страна оживала, создавала, торговала. Все перебирать — памяти не хватит. Но, главное, жили и жить хотели, детей рожали. Петра родили еще в Семипалатинске, потом Наталью, а вскоре и Люська объявилась. Девки уже на Балхаше нашлись. Федор перед войной шпалы уже не ворочал, Федор перед войной был помощником машиниста, хорошо зарабатывал и ходил в почете. Имели они с Саней деньги и хороший дом купили. Заработанных денег на дом не хватало, и Федор рискнул. В Караганду смотался, по надежной наводке дельца нашел, представился, от кого прибыл, и золотые серьги с бриллиантами в большие рубли превратил. Получилось как нельзя лучше. Спасибо Мухортику и тому несчастному, которого Мухортик с седла сронил.

Война перелопатила все...

К годовщине смерти Федора Сергей с Петром денег прислали, чтобы памятник отцу баба Саня организовала. Люська про деньги узнала и тут как тут.

— Мама, — сказала она, — мы с Андрюшей все сделаем. Мы знаем, где памятники делают, и раковины к ним, и оградки варят.

— Щас! — ответила баба Саня. Она хорошо помнила, как дочка посудное серебро из буфета выгребала, лицо ее тогдашнее помнила, руки трясущиеся. — Я еще сама на ногах держусь и до этой конторы уже доведывалась. Как-нибудь управлюсь.

Люська свернула губы в куриную гузку и промолчала. А баба Саня к Наталье пошла, с ней в контору эту гробовую сходила, где и договор подписала на памятник, на раковину и на оградку. А чтоб все было совсем хорошо, оплатила все услуги по установке и памятника, и оградки и дату указала, после которой все и надобно сделать. Как год после смерти минует, так все и надо установить. Ритуальщики не подвели. Деньги, брат, великая сила. Плати — и будет. Как в медицине? Бесплатно — это бесплатно, а за деньги — другой колленкор. Здесь тебе и улыбка, и обнадеживающие слова, и по три-четыре раза на день лечащий доктор в палату заходит, на коечку твою больничную с краешку присаживается и рецепт если вдруг напишет, то очень даже разборчиво.

Люська такое недоверие к себе стерпела, а что ей было делать, она чувствовала, что не по той дорожке пошла. С этими ложками и вилками серебряными, будь они неладны, она, конечно, поспешила. Бес попутал. Поспешила, потом сожалела, но не раскаялась. Все равно они ей достанутся, Андрюша прав.

Те сережки с бриллиантами очень Малаховых поддержали. Федор с Саней тогда и дом приличный купили, и в дом все купили, и детей хорошо одели, да и сами оделись. Федору очень светлый костюм был к лицу. Смуглый, стройный, с усиками, с черным, падающим кольцами чубом, он был действительно хорош. Он это чувствовал по разговорам с чужими женщинами, но дорогу в свой дом ни разу с другой не спутал. Саня об этом знала, Федору верила, и досужие бабьи сплетни обходили ее стороной. Так бы все и шло, если бы не война. Мир сдвинулся. Федору дали броню, Петру до винтовки сроку не хватало. Парень ходил в военкомат, присился, мол, лет не хватает, зато ростом вышел. Военком улыбнулся.

— Не спеши, — сказал. — Еще успеешь... Иди и продолжай расти. Мы тебя, когда надо будет, сами найдем.

И нашли. Ровно через год. Нашли, призвали и направили в школу младшего комсостав. Саня обрадовалась, хоть не сразу на фронт, может еще поживет...

А из Рубцовска от Егора Семеновича весть пришла, что Карамышева Ивана Романовича во время коллективизации раскулачили, припомнили ему сынка, что с колчаковцами ушел, и вместе с женой, Федоровой матерью, сослали в Нарым, где они и сгинули. Усадьбу карамышевскую ревкомовцы с советчиками пустили по ветру; где дом стоял, ангары кожевальные, завозни и постройки разные — пустырь организовался. Новый мир собирались построить... И строили. А ведь Федор все тосковал на Чарыш съездить, да побаивался ненароком на Ивана Нестерова наскочить.

Марина убитого, конечно, в тех осенних талах обнаружили, кто его убил — тоже догадались, а вот след убийцы взять не могли. Ни убийцы, ни жены его. Федор с Саней в ту ночь как сквозь землю провалились. Но, слава богу, ни тетку Санину, ни мать ее революционному суду не предали. Коняев хорошо Прокопа Малахова знал, гибель его помнил и беду от женщин отвел. Отвести отвел, но темное пятно на Саниной матери так и осталось, и на Прокоповой сестре, Саниной тетке, тоже. А с темными пятнами под революционной правдой жить тяжело.

Тетка Санина во время коллективизации домик свой продала и перебралась к своей подруге в Усть-Калманку, где и жила до поры. А мать Санина переехала из Большой Панюшовой в Алейск, где недалеко от станции на улице Алтайской приобрела саманную избушку. Конечно, это были не хоромы, не чета прокоповской усадьбе, но жить можно.

Все эти данные по крошке, по капельке просачивались, как живая кровь сквозь горячие бинты, оседали в малаховском доме, ложились под спуд и никому из детей не рассказывались. Придет время, будет в том нужда, все и узнают, а пока пусть живут, новой жизни советской учатся.

Броню с Федора сняли в начале сорок второго года. Немцы стояли под Москвой. Федор потом рассказывал:

— Запихали нас в вагон и на восток повезли. В Красноярске выгрузили, по казармам развели, обмундировали и муштрой начали мучить. То порóтно, то взводно, то поодиночке... Четыре месяца ходить строем учили. Ноги в коленях начали болеть. Поговаривали, что к параду нас готовят. А потом...

А потом погрузили в эшелон и прямиком, как гвоздь в стену, весь состав в бойню и вколотили. В первом бою, в штыковой атаке, с ручным пулеметом наперевес, Федор и заслужил свой единственный боевой орден.

Война для него закончилась через полтора года. Федор был заговоренный. Слева падали, справа валились, а он со своим пулеметом за полтора года и царапины не получил. И все-таки в одной из атак немецкая пуля нашла его и пробила ему левое плечо навывлет. Одной рукой с ручного пулемета не постреляешь. Развернулся солдат и пошел к своим, неся левую руку, промокшую от крови, как плоть, а правой волоча за ремень ручной пулемет. Два месяца лежал в Уфе в госпитале. Кости плеча оказались очень повреждены. Срастались тяжело, но срослись. Потом оказалось, что срослись худо.

А в это время... Вот скажите, что снов вещей нет! Аккурат двумя месяцами раньше Саня с малыши девками на руках, понимая, что ей одной не справиться, решила ехать к матери в Алейск. От Федора ни весточки, Петр ей не принадлежал, родина затребовала, у Люськи рахит начался, Наталья большенькая, но толку чуть. Вокруг эвакуированные, шпана появилась. И она, Саня то есть, решила все продать и ехать к маме. Мама — это же мама. Мама Саню любит, мама Саню спасет.

И дней за пять до отъезда, когда уже и дом продан, и билеты куплены, и вещи упакованы, и багаж, который непосильный, сдан в багажное, Сане сон снится.

Снится ей сон, что не поездом она с детьми должна отъезжать, не по железке, а надо ей плыть пароходом. Пароход белый, чистый, народу немного, и капитан как будто с парохода по трапу спускается прямо к Сане и говорит:

— А вы, гражданка, не поплывете.

— Почему не поплыву, у меня уже и билеты куплены, — у Сани сердце захололо.

— Вашему пароходу, — говорит капитан, — левый борт оторвало...

Через три дня треугольничек от Федора пришел. Федор писал, что ранен был в левое плечо, что через две недели медкомиссия, и его, наверно, на фронт не вернут, рука не поднимается. Саня и плакала, и радовалась. Плакала, что ранен, радовалась, что живой. Билеты она сдала, жить перешла в пристройку, поскольку дом был уже продан, и Федора стала ждать. А вдруг и не пошлют его после госпиталя на фронт, куда же он поедет? Туда и поедет, откуда на фронт уходил. Так она рассудила и матери в Алейск про все отписала.

Памятник Федору ритуальщики поставили в самый аккурат после годовщины. Бабе Сане все понравилось — и оградка, и плита гранитная, и фотография. Федор был в косоворотке, чуб седой уже не кольцами и на пробор расчесан. Но самое примечательное было — это борода. Федор задолго до смерти бороду отпустил.

Была она седа, кучерява и окладиста. За эту бороду Сергеевы друзья Федора Ивановича Бородой кликали.

— Здорово, Борода!

— Здорово, басурманы!

Теперь уже не окликнут. Нет Бороды. Гранит есть, оградка есть, фото есть, а Бороды нет. Да и друзей Сергеевых почти не осталось, кто где. Кто уже в могиле, а кто в дальних краях. Сергей-то сам во-он где...

Картошка в этот год опять уродилась хорошая. Да она каждый год была хорошая. Чернозем никогда не подводил, был бы только дождь вовремя. Будет дождь, будет солнце, будет все. Такой край благодатный, живи и радуйся.

Радуйся... Только радости этой оставалось все меньше и меньше. Люська пьет, Андрей пьет. Люська Андрея уже не Андрюшей зовет — Гёбильсом. А он пьет да все ниже становится. Какой-то прямо не мужик. Согнутый, худющий, половины зубов нету.

Но, надо сказать, иногда они оба вдруг прекращали пить. Баба Саня радовалась: господи, неужто одумались. Нет, не одумались, просто кончались рубли, с ними водка кончалась, и тогда начинался запойный труд. Ограда ремонтировалась, крыша латалась, уголь, с весны еще привезенный, в закрома угольные носился, баня каждую неделю топилась, огурцы малосолились. Но длилось все это недолго. Бывших пьяниц не бывает. Как исключение если. Такое горе...

Ульяниха через дорогу на эту всю канитель смотрела и расстраивалась: уедет баба Саня, ох, уедет.

Уже по снегу письмо от Сергея пришло. Пишет: собирайся, мама, ко мне на зиму, мне квартира хорошая выпала. Четыре комнаты, пятый этаж, под окнами сосны. Будет тебе отдельная комната с отдельным телевизором. Славка очень тебя ждет, блинов твоих хочет.

Наталья добро на поездку дала. Люська губами пожевала:

— Поезжай, поезжай... Обрадуй Татьяну! Ага...

Люськина ненависть к Сергею и на Татьяну распространялась, хотя виделись они всего два раза, когда молодые Сергей и Татьяна к родителям приезжали как бы на смотрины. Татьяна родителям показалась. Баба Саня, конечно: Танечка да Танечка, а Люська губу и натянула. Как жа! Сноха любимая, язвы ее...

Наталья добро дала, и баба Саня к Ульянихе пошла, не вытерпела. Ульяниха сердце свое забившееся успокоила и бабу Саню перекрестила.

— Поезжай, Саня, посмотри, а вдруг и понравится...

— Да я не об этом горюсь. Если к Сергею уеду, то там и умирать придется. Федор будет здесь лежать, значит, а я там. Плохо это, душа болит, и, как быть, не знаю...

— А ты не горься. Федорову могилу Наталья с Люськой доглядят, а твою — Сергей. Земля, Санюшка, одна на всех. Что там — земля, то и здесь — земля...

— Да это-то так.

Три недели Саня с девушками в пристройке ютилась, благо новые хозяева с понятием были, а то ведь могли и попросить вон, дом продан, деньги отданы, нечего здесь глаза мозолить со своими рахитами, у Люськи-то пузо было уже с ведро. Но приехал фронтовик, рука левая на перевязи, на груди орден, лицом ладен, статью строен, речь ведет не напористо.

— Три дня еще сроку дайте, документы выправлю и билеты купим. Дольше терпели, чуть-чуть осталось.

Документы в военкомате оформили, поздравили с орденом, с возвращением, хоть и бит, но жив, а это не так и мало. Его здесь еще по старой работе помнили: и как его в кино показывали, и как он железки латунные ветошью полировал. Хорошо помнили и справку дали на выезд в Алтайский край, в город Алейск к родителям Александры Прокоповны незамедлительно. Поезжай, мол, ты свое отпахал, на паровозе работать не годишься, и ничего здесь не попишешь.

Алтай не изменился. Солнце, облака, ветерок... Улица Алтайская, где купила домик Дарья Никифоровна, была грязневенькая. Избушки все саманные, невысокие. Огородики маленькие, скудененькие. Как бы ни было, но не под голым же небом спали. В избе, в тепле, а то, что тесновато, так это со временем и решить можно. Первое, что Саня сделала, это определилась на работу в экспедицию. Было такое предприятие неподалеку от дома, куда техника и прочие грузы прибывали для районных колхозов. У Сани грамотишки было маловато, но читала и писать могла. Хоть и коряво, но могла — это раз, во-вторых, не старая и умом, и памятью не обижена, а в-третьих, легка на ногу и работы не боится. А еще при экспедиции подселили одну, из Ленинграда эвакуированную. Хорошей помощницей оказалось, грамотной. Саня ее под крылом своим пригрела, и хорошо им обоим было. С тем и подспорье денежное пришло, а Федору инвалидность дали. Невелика группа — третья, но тоже какие-то рубли. Да и монетки же еще золотые не все были растрочены. Федор Чарыш вспомнил, Балхаш вспомнил, к сетям потянуло. Озер вокруг много, но транспорта нет. И транспорта нет, и сетей нет, и ниток нет. Ничего нет, но зато желание было, а это дорогого стоило.

Петр писал, что воюют трудно, немцы дерутся крепко, он командует взводом, звание имеет младший лейтенант, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и намерен дойти до Берлина. Дай-то бог. А бог давал, фронт катился на запад, по радио шли и шли хорошие вести. На этих радостях Саня и забеременела. Федор узнал про это и сказал, как топор в плаху вогнал:

— Рожай!.. Сына хочу!

Победа пришла, и Сережка родился.

— А что? — говорил Федор. — Ты не старая, мне пятидесяти нет, руки есть, ноги есть, вот и вырастим пацана. Ему на жизнь, а нам на старость.

В тот победный год Федор с Саней денежек подбили, золотые монетки обернули. Пусть и невыгодно на сей раз обернули, но землянку в Малой Панюшове купить смогли. Съехали от Дарьи Никифоровны. Земляночка была в землю по грудь вросшая, с земляными полами, с сенцами, с пристроенным курятником. Тесно, зато весело, своя семья в своем углу. Землянка хоть и мала, зато при ней огород большой. И Федор Иванович, и Александра Прокоповна теперь твердо были уверены, что на этом месте им и край встречать. Вот из землянки бы только перебраться, домик бы поставить. Домик бы... Сергей ведь растет.

К середине декабря, когда зима вошла в полную силу, баба Саня подсобрала в дорогу вещи свои носильные, сорочки там, кофточка, купила плацкартный билет, собрала девок и объявила:

— Поеду к Сереже, погощу. Будет все хорошо, так поживу и до марта. Наталье за домом наблюдать далеко, а тебе, Люська, сам бог велел. Уголь есть, дрова есть, ходи и протапливай, изморози не допускай. Промерзнет дом, сыростью будет пахнуть. Яйца, что соберешь от кур, себе забирай, мне десятка два к пасхе сбереги.

— Что ты, мама, что ты, — Люська вся расцвела. — Все и соберу, и сохранию, и тебе обо всем в письмах писать буду.

— А я буду их подписывать... — Наталью бес за язык дернул.

Люська промолчала. Дело складывалось пока в ее пользу. Вот уже и за домом доглядывать ей доверено. Пока доглядывать, а там...

Провожать бабу Саню пришли все: и Люська, и Наталья, и даже «Гебильс», в смысле Андрей. За что ему кличку такую Люська дала, она и сама не знала, но кличка прилипла намертво, уже и на улице соседи в разговорах нет-нет да и называли Андрея «Гебильсом». Через букву «и». Поезд «Лениногорск — Москва» подошел по расписанию. Баба Саня дороги не боялась, она много поездила, когда в Азии жила. То в Актогай, то в Аягуз, да и в Алейске частенько приходилось в Топчиху мотаться, к подруге своего детства, с которой в Алейске на базаре случайно встретилась. Детство — это же радость, это же говорить не наговориться. В Семипалатинск к Наталье опять же не раз ездила.

Телеграмма от матери Сергея врасплох не застала. Он знал, что мать обязательно придет. Подготовили комнату, наладили телевизор, входи и живи. Татьяна не упиралась, она знала, что Сергей от матери не откажется и доживать свой век она будет здесь. Славка ждал бабушку вместе с бабушкиными блинами.

И бабушка приехала...

Веселья особого не было, был просто праздничный стол с салатами, котлетами, шампанским и шкаликом коньяка. Шампанское для женщин, коньяк для Сергея, а Славка надувался любимым брусничным компотом. А потом было утро, квартира опустела, и баба Саня осталась в огромном четырехкомнатном ангаре одна. Завтрак на столе, в холодильнике продуктов немного, но есть, воду носить на коромысле не надо, батареи теплые, туалет и ванна под рукой, занавески чистые, под окнами машины жужжат неназойливо. Вот жизнь, и что теперь делать? Баба Саня на восьмом десятке, но на руку еще легкая. Нашла картошку, что хранилась в ведре под раковиной, и начистила, может Сергей обедать заглянет, а нет, так скоро Славик придет из школы, для него и нажарить можно, молодой — съест за милую душу. Славке жареная картошка с корочками поджаристыми очень понравилась, а к ней вчерашний салат, а потом компот, а потом бабушка же рядом хлопочет. Такого удовольствия ни в какой школьной столовой не добудешь.

Вечером, когда ужинали, обговорили многое. До закрытия магазинов Сергей принес и молока, и муки, и масла двух сортов, и мяса, и даже квашеной капусты. Потом учились управлять телевизором. Это было легко. Главное, что он был цветной и широкий. Вот бы Ульянихе такой телевизор! Только таких телевизоров на Алтае еще, наверно, нет.

На следующий день Славик трескал блины, а Сергей с Татьяной, несмотря на вечер, ели кислые щи с обжаренной свининкой и чай пили с бабушкиными блинами, что от Славки остались. Квартира Татьянина начала превращаться в домик в деревне, потому что потом появились вареники с картошкой, приправленной шпигом с лучком обжаренным, вареники с творогом, а потом своедельские пельмени из самодельного фарша, где было поровну и говядины, и свинины, и непременно для запаха добавлено баранины рыночной. А потом были пирожки жареные с мясом, потом печеные — с капустой, потом чебуреки, манты, беляши, а потом картошки всякие и еще, и еще, и еще...

Как-то вечером, когда уже спать полегли, Татьяна Сергею и говорит:

— Мама только до марта будет? А давай мы ее уже не отпустим.

— Тебе с ней хорошо?

— Ой, Сережа, — и потесней к нему прижалась.

— Может, дочку закажем, раз такое дело?

Когда Сережка в первый класс пошел, то Наталья уже лет пять как в Семипалатинске жила. Замуж вышла не совсем чтобы по любви, но и не противно. Муженек оказался из бластных. Остроносенький, щупленький, но шустрый. Всех охмурил, и Наталью в том числе. Деваться некуда, пошла под венец, а мужу, Павликом его звали, этот венец совсем ни к чему. И в церковь не пошел, и жить в Алейске не захотел, покумекал с братвой, а поскольку грамотен был и шевелил мозгами, то и повез Наталью в Семипалатинск, где через дружков, таких же бластарей, лихо пристроился завмагом. Сам пристроился и Наталью пристегнул к торговле. Наталье за прилавком хозяйничать понравилось, магазин был универсальный, и дело пошло. Суть в том, что Санину пра-пра-бабку по материнской линии когда-то в ордынские времена татарин объездил, и в Санином роду иногда проскакивала узкоглазая монгольская порода. Достались эти слегка раскосые глаза и Наталье. Люське — нет, а Наталье — да. А к этим глазам да еще скулы чуть выпертые, и казахи от Натальи просто балдели. Вроде и русская, а что-то и другое есть. Она действительно была красива той степной красотой, которая очень ценилась в этих краях. За красоту, за острый язычок, за улыбку белозубую и легкий характер местные торговые авантюристы, угождая и прогибаясь, сплавляли через ее прилавок много дефицитного товару — от конской колбасы до бухарских шелков. Наталью никто не трогал, Павлик был у бластных в авторитете.

О родительской печали относительно домика Наталья знала и по морозцу каждую зиму по два, а то и по три раза в Алейске наведывалась. Приезжала не просто. Приезжала и привозила, как правило, килограмм до двадцати конской колбасы и денежек пачечку. На домик. Ту колбасу конскую Сергей до сих пор помнит, ни на какой сервелат не променял бы. Со школы прибежать домой, полколеса колбасы отрезать, отварить и съесть прямо со шкуркой под хлебушек «пашеничный». А? Рай... Можно и не отваривать, но вареная сочнее.

Первые деньги появились, купили корову. Домик — это когда еще, а корова сейчас нужна. Где корова, там и теленочек. Угадается бычок, на откорм пустить можно. Если телочка — продать. К тому еще и молоко, и транспорт. Худо-бедно, а верст за десять-двенадцать на корове съездить можно. Рыбалку Федор из головы не выпускал. Рыба в ходу, рыбаков в округе нет, войной выбиты, а дело это ему и по Чарышу, и по Балхашу очень знакомо. И себе на пропитание, и на продажу опять же. Саня из экспедиции ушла. И ходить далековато, и не все там ладно пошло, воровством запахло, а она такую беду за семь верст чуяла. Да и Федор сказал — бросай, мол, на эту власть ишачить, не пропадем.

Помогал деньгами и Петр. Получив три ранения с двумя орденами, он закончил войну в звании старшего лейтенанта, но комиссован не был, и остался служить сначала в городе Рава-Русская, что подо Львовом, а потом был переведен в строительные части под Ленинград. В запас ушел в звании подполковника.

И Люськино участие в домике есть. Участие, надо честно сказать, большое. Школа ей не далась. Сначала рахит, к нему еще и бестолковость, а потом неумная тяга к взрослой жизни привели ее на железную дорогу, где она и получила персональные кайло и лопату. А что, рассуждала, почему бы и не так? Ну так, так так. Здоровая телом, грудастая, она попалась на глаза ушлomu составителю, и тот, не только за красивые формы, конечно, организовал ей большую партию выбракованных шпал. Шпалы были хорошо проверены, гнилье отброшено, и по весне несколькими рейсами привезены на место строительства дома. Прямо перед землянкой на траве их в штабель и сложили. Стоили эти шпалы совсем недорого. Дорого было их достать. Люське цену обозначили, и она ее заплатила.

Шабашники дом строить начали в мае, а в конце сентября крышу накрыли. Шпалы не бревна, уже отформованы, укладывая на мох, топором подправляя да скобами крепи. На новоселье были все: и Петр, и Люська, и Наталья с Павликом. Две комнаты, большие сени, веранда, полы деревянные, русская печка с грубой, четыре окна, крыша, толем крытая, на два ската с коньками подрубленными, большой сарай: и корову можно держать всю зиму в тепле, и свинью откармливать. Из сарая ход в подвал. В избе под полом погреб, нижний голбец. Поиздержались, правда, хорошо, но и домик как игрушечка. Тесом обшит, красным покрашен, фронтон желтый, рамы оконные синим крашены, ставни резные, филенчатые. Соседи приходили, смотрели, одобрительно Федора по плечу хлопали. Знали, что сам бы он такое не осилил, но на то они и дети, чтобы родителям помогать. Еще в заповедях сказано...

А бабе Сане у Сергея в квартире все нравилось. Но больше всего ей было любо то, что она в этих хоробах вроде как хозяйка уже. Еще и месяц не живет, а уже хозяйничает. На кухне, конечно. Татьяна ее не поправляет, ну если чуть-чуть: содой, мол, это чистить нежелательно, поцарапается, а вот это можно. Баба Саня подсказку схватывает и лишний раз, если что, то и спрашивает. Татьяне это по душе.

В конце февраля по телевизору фильм показывали. «Тихий Дон» назывался. Сергей еще предупредил: «Ты бы, мама, не смотрела...» Вступилась Татьяна:

— А что? Хороший фильм. Мне так очень нравится...

— Ты, Танюша, многого не знаешь.

Фильм начался, пошли первые кадры, Григорий Мелехов нарисовался, и бабе Сане стало плохо. Это был вылитый Федор, тот предрасстрельный. И стать, и нос хрящеватый с горбиной, и чуб этот черный. Татьяна валерьянки ей накапала, телевизор хотели выключить, но баба Саня не велела. Сердце ее успокоилось. Конечно, это был не Федор. Вроде и похож, а говор не тот. Все серии просмотрела, ни кадра не пропустила, раз пять валерьянку пила. Петра убитого во двор на телеге ввозят, а ей крайний илбан с мужиками порубанными видится. Подтелковских вешают — опять валерьянка, морячков порубили — то же самое, а уж когда Аксинью убили, когда Григорий к ней, к мертвой уже, прижался, то и говорить нечего. Баба Саня даже навзрыд поплакала, только тихонько.

Потом сказала:

— Половину фильма как впотьмах просидела; кино смотрю, а перед глазами свое видится: то бараки тифозные, то Марин на жеребце своем, то батьку твоего в бурьяне вижу, убитого. Еще бы раз все кино переглядеть, все бы до конца увидеть...

Сергей успокоил:

— Посмотришь еще, мама, переглядишь. Повторять будут и переглядишь.

Дни шли, январь кончился, февраль распечатали. От Люськи и впрямь письмо пришло. Гостюй, мол, мама, ни о чем не думай, у нас полный порядок, а вот Наталья ни разу и не приходила, «ни разочку». А что ей там мелькать-то, думала баба Саня, у ней у самой хозяйство — и куры, и поросеночек, да и младшенький сынок скучать не дает: то обкурится, то заблудится. У каждой кошки свои блошки.

Сергей на бабу Саню не наступал, но упрямо гнул, что на следующую зиму мать переедет уже насовсем. Место есть, не в тесноте, пенсию ее трогать не будут, а по потере кормильца баба Саня получала прилично. Федор — фронтовик, инвалид, а по причине его болезни группу третью медики переделали в первую, предсмертную. А первая — это не третья, это уже и на хороший кусок масла хватало.

Баба Саня и смолоду деньгам счет знала, а уж когда старость подошла — и того лучше, хотя жадной ее никто не считал. Не жадная была, но на что попало деньги не переводила.

Люська своими мозгами и так раскидывала, и так, и получалось, что у матери заначка есть, и неплохая. Вот только как до нее добраться? Не знала голова ее бестолковая, что деньги баба Саня у Натальи хранила, потому как доверяла ей больше, чем кому-либо.

А Сергей склонял мать к тому, чтобы дом не продавать, а действительно завещать Люське.

Баба Саня перед сном все чаще прикидывала: ну какие деньги за дом возьмешь? Негусто ведь. А если по уму, то от продажи всем надо что-то дать. Люська шпалы доставала — это, ох как, учесть надо. У всех в округе саманные хатки да насыпные, а этот дом из шпал пропитанных. При хорошем догляде ему сто лет стоять. Наталья опять же деньгами снабжала — тоже в паю, Петр хоть и немного, но присылал. Да и самой надо оставить, так сказать, на гробовые. Хоть и грешно об этом думать, но думать-то надо. А Сергея как не наделить, ведь к нему же приедет, на его хлеба. Вот и думай, как быть. Сергей склонялся, чтобы отдать. Баба Саня думала.

Март подошел, Сергей и объявил:

— Поеду-ка я, Татьяна, с мамой вместе. Отвезу ее домой, погостую у нее недельку, дом замороженный протоплю хорошенько, да и очень я по буранам нашим сибирским соскучился. Посмотрю да послушаю, как они воют в трубе. Это, Тань, такая музыка, слушал бы и слушал.

— А отпуск дадут? У вас же все аврал да аврал...

— Дадут! Третьего дня ходил к Волоховскому, он обещал подумать, а вчера дал добро.

Телеграмму ни Наталье, ни Люське решили не отбивать. Зачем людей колготить. Багажа негусто — чемодан да сумка. Гостинцы купили и Наталье, и Люське с Андреем. Девкам по платку, Андрею коньяк хороший. Поди, и не пил такого ни разу, пусть душу потешит.

Поезд «Москва — Лениногорск» подошел к станции Алейской с тихим морозным сипом. Небо было звездное и такое высокое, что как голову ни задирай, а всей высоты все равно не увидишь. Ночь хоть и темная, а дорога светлая. Снег хрустит, морозец поджимает, скоро и дом, вот только через солонцы перейти, через сугробы эти поперечные. Баба Саня перчатки сняла. Когда она волновалась, у нее руки начинали гореть. Какой бы мороз ни был, а пальцы у нее не мерзли, просто горели. Сергей об этом еще с детства знал и не мог никак понять, отчего это так. Он шел рядом с матерью, посматривал на нее сбоку и думал: вот матери уже скоро восемьдесят, жизнь прожила такую, что другой и половины не осилит — и в бегах была, и за тифозными горшки выносила, и Наталью с Люськой в самые военные голодные годы удержала, на родину перебралась, без мужа теперь, — а вот не унывает, на ногу еще ходкая. Крепкая еще мама, что и говорить. Все-таки верно говорят: кого Господь не балует, тому и помогает.

На улице фонари не светили, да их здесь отродясь не было, в окнах домов стояла ночь. Прошли мимо Люськиного дома, баба Саня и ключи уже достала, когда увидела, что у ней в кухонном окне свет мерцает.

— Сережа, это что?

— Не знаю, мама, сейчас увидим.

Крыльцо было от снега очищено. Отокнули уличную дверь, отворили сенную, включили в сенях свет и почувствовали, как в лица пахнуло теплом и свиным навозом. Предчувствуя нехорошее, баба Саня потянула на себя избяную дверь и обомлела. На грубе, перед устьем русской печи, стоял ее огромный чугунок, в котором она варила раньше еду для свиньи, рядом с чугуном мерцал электрический ночник, а в тусклом его свете посреди кухни стояли четыре поросенка. Беленькие, чистенькие, с прозрачными ушами и ясными пороссячьими глазками; в каждом поросеночке весу было уже примерно по пуду или около. Сергей от удивенного неожиданно для себя хохотнул. Поросятки шархнулись в святой угол и замерли. Над ними, на самом верху, висела в рушниках маленькая иконочка. Ни в каком кино не придумают, чтобы в чистой жилой избе по всей кухне солома валялась, свиньи бегали, было бы сыро и навозно, и на все это сверху мать божья смотрела бы.

Баба Саня поворотилась к Сергею, упала ему на грудь и заплакала.

— Не плачь, мама, я их сейчас на улицу выброшу...

— Зачем, сынок? Не надо. Дом уже загажен, насквозь провонял... Здесь и спать-то нельзя, задохнешься.

Ах, Люська, Люська... Не напрасно Федор покойный жалел ее, но недолюбивал, все «путем хреновым» называл.

Люську решили не будить, какой с нее спрос, а поросята не дрова, просто не уберешь, да и поздно убирать, все стены на поросячий рост навозом уделаны, глиняная штукатурка на стенах и на грубе пороссячьими «пятаками» попорчена. Баба Саня ничего не тронула и Сергею не разрешила. Двери все притворила: и избяную, и сенную, и уличную. Замок на щеколду набросила, но на ключ запирать не стала.

Наталья руками всплеснула, когда среди ночи на пороге мать с Сергеем явились.

Сели завтракать, уже зариться стало. Говорили и рядили — что же делать. Дом уже не продашь. Привести его в порядок — отскоблить, побелить — у бабы Сани сил не хватит. Был дом, стал сарай, а сараю цена не грош даже. Короче, Андрюша, который Гебильс, оказался прав, и никто никуда не делся, потому как Сергей подговорил Наталью, а Петр был далеко, и баба Саня сдалась: пусть будет по-вашему, Люське, так Люське...

Документы уладились, страсти улеглись, баба Саня с Сергеем уехали. Прав Андрюша оказался, прав. Вот тебе и Гебильс! Люська пребывала в радости. Шутка ли — дом! Ходила как водой святой умытая. Немудрая была, не разумела, что богатство в недобрые руки просто так не дается.

В апреле потеплело и поросят из кухни убрали. Кухню Люська отмыла. Из щелей между половыми досками весь свиной навоз ножиком выскоблила, все хотела, чтобы вонь свиная ушла. Где хрюшки глину с побелкой объели, подштукатурила, стены побелила, и вонь ушла. Все лето возилась, до самой осени, даже про пьянку порой забывала. Перед Новым годом дом был продан Шатохину Юрке, для его сына Вовки. Деньги Люська получила полностью одним большим пакетом. После обмывки купли-продажи Люська вместе с Андрюшей все деньги пересчитала три раза и в комод под белье заныкала. Думала, что надежно, да как бы не так. Через два дня Колька из Усть-Каменогорска досрочно заявился, как раз перед праздником новогодним. Как чертик из табакерки! На радостях Андрей про свое обещание забыл. Ну как же, сын, сынуля! Застолье, хмель и, конечно, хвастовство выгодной продажей. Ну и все. Сынуля пришел вечером, исчез ночью. Пришел один, ушел с деньгами. А в полдень к Люське нагрязнула милиция, Кольку искали. Сынок был в бегах. Где он, с какими друзьями хороводился, неизвестно, но нашли его через неделю, обкуренного, полураздетого, мертвого. Он лежал скрюченный между сугробов, присыпанный ночным снежком, напротив старого базара, на солонцах. Денег при нем не было.

Обо всех этих делах баба Саня из Натальинового письма узнала.

— Ну вот... — только и сказала вечером, протягивая конверт Сергею.

Сергей не сказал ничего. Пробежал письмо, положил на стол и руками развел — хотелось как лучше, да там не захотели...

Баба Саня дни посчитала, уже было четырнадцать дней, как Кольку схоронили, но все равно насыпала в стопку рису, воткнула свечку и запалила. В память о внуке. Хоть и непутевый был, а крещеный.

Уже перед сном старое разворошила, Ульянику вспомнила, как ходила к ней прощаться перед отъездом. И попрощаться, и на поросят пожаловаться.

— Вишь, сестра, как все обернулось. Родная дочка обманула. Это как?

— Не горься, Саня. Сейчас оне все такие.

Похоже, да. И Колька не лучше Люськи оказался.

Ульяниха тогда хотела бабу Саню утешить как бы, но получалось наоборот. Дело сделано, но думки бабу Саню нет-нет да и тревожили. Был дом, была баба Саня хозяйка. Была хозяйка, а стала никто. Как не гориться?.. Одна надежда — Сергей. А случится что с Сергеем?.. Мысль эту дурную она от себя гнала всегда.

— Да я, сестра, не горюсь. Вот только Федор здесь останется, а мои косточки от него далеко будут.

И опять ее Ульяниха попыталась успокоить.

— Земля, Санюшка, для всех одна...

